

КРАСНО СОЛНЫШКО

Повесть

У рожоного оказалось четыре зуба. Он так прикусывал соски, что матери губы себе искоусала. Что делать? Чадо блажит, ись просит. Мати извелась – и от боли, и от кручины. А покормить никак – молоко кровью даётся, а то и вовсе пропадает. Дали младеню кормилице – та тоже в рёв. Другой – тоже. Тогда Малуша, мати рожоного, расшатала те ранние зубёшки, вытащила их и наконец-то утолила голод дитяти.

И так всё, верно, и забылось бы – эка невидаль утрата молочных шоркунков. Да ведь отцом чада был князь Святослав, киевский державник, и выходит, ребячёнок, названный Владимиром, явился на свет князем, даром, что родила его холопка – князева ключница. Прознала о содеяном бабка младени, княгиня Ольга, и до того разгневалась – как де рабычица позволила самоуправство, – что сперва приказала полосовать плетью, а поостыв маленько, приказ отменила, и велела гнать ослушницу со двора.

Как убивалась Малуша, что её разлучают с рожоним дитятком! Лучше плеть, чем воля! Как стенала на забрале, устремляя очи в закатную сторону, куда походный конь унёс князя! Где ты, ладу? Как молила вихорь донести на Дунай свои горячи слёзы! Оборони, любый! Всё было тщетно. Спровадили Малушу с господского двора едва не батогами. Дозволила ей княгиня токмо одно – надеть сынку оберег-ладанку. Не боле...

Простыл след Малуши, словно её и не было. Куда унесло рабычицу, старая княгиня не пыталась. Но ладанку-оберег, которой игрался младеня, однажды растворила.

В кожаном мешочке оказались те самые шоркунки, скреплённые белокурой прядкой младени; в ту же связку были вплетены русые волосы из оселедца отца да каштановый завиток матери, а ещё животинная нитка – не иначе жилка жертвенного

быка, забитого на Подоле в честь новорождённого. Насупилась старая Ольгица, оглядев языческий оберег, да всё же не воспротивилась. Смирило её одно – пёрышко голубиное – символ Свята Духа, оплетённое прядками. И положила она во внукову ладанку свою память – резной кипарисовый крестик, привезённый тремя годами ране из града Константинополя, где она, Ольга, крестилась.

1

Что будит его ни свет ни заря? Отрок вполглаза размыкает веки. Огня нет – постельничий служка, вечер бубнивший «Влесову книгу», не уследил, сморённый дремой, – светец сгас. Будить – не будить?

Глаза отрока тянутся к бусоватому оконцу. В сутемках оно едва угадывается. По слюдяным вставкам мечутся тени. А за оконцем буйствует непогодь, заглушая похрапывание служки и мурлыканье котофея, что пригрелся в ногах.

«Студенец – месяц-оборотень», – вещает старая Улита. А ить, ежели прислушаться, и впрямь. То как ведьмедь-шатун, до поры спокинувший берлогу, трещит лесинами, безумствуя от голода. То будто домовой колотит на подволоке, мол, не спи, большуха, даром что ночь, вставай печь топи, да, мотри, жарче, не то стужа-кощеица живо хоромы в полон возьмёт. То татем свищет в два пальца, погоняя запоздалого ярыжку. А то взвизгнет, ровно пьяная ведьма, и, замечая подолом позёмки собственные следы, унесётся куда-то за детинец.

Кот-баюнок перебирается ко взголовью, поуркивает заботно и наставительно. Дрёма опахивая веки, опять кунает в сон. Кто это с прялицей? Али не с прялицей? Неуж, ведьма на помеле? Нет, не ведьма. То опять старица. Что-то бубнит. Наставляет? Али спрос ведёт? «А вот тебе, дитяtko, красно солнышко!» В руках Улиты блюдо медное, а в блюде клюква алая, изморозью обсахаренная.

Отрок ворочается, размётывая овчиную полость. Пошто не спитсся? Ненастье ли пробудило – то, что снаружи? Али ожида-ньице чего-то – что деется внутри? «Спи ужo!» – урчит кот-баюн.

Улитина прялица украшена Ярилой. Куделя на лопасти, что туча громовая, застит красно солнышко – ни просвета. «Скоро ли, бабенья, счахнет зима?» – «Скоро, батюшка. Куделю-то спряду – тоdle и возвернётся весна-красна. Вишь, краюшек отворился». Напервы-то он поверил – убедила старая. Да потом

сметнул, что кудели-то у бабени разные: то сивая – это от ярочки, а то аспидная – от чёрного барана. Осерчал было, догадавшись, дверью хлопнул. Да сердце-то отходчивое – на другое же утро опять наведалься в пряльную горенку. А Улита ему – обновку: наголовки вязанные на ноги. «Садись, батюшка, примеряй». Налоговки мягонькие да тёплые, хошь вместо катанок обувай.

Наголовки, что котофеи – порск и вот уже бегут по снегу. Навроде сами по себе. А будто и его несут. Куда путь ладят коть вязанные? А вон куда – к жару печному, к горну кузнечному. Мехи бучат полымя, железо калят. Кольчуга, кою куют-ладят кузнецы-молодцы уже собрана. Остаётся последок – зеркало нагрудное. Вот старый коваль суёт в горн щипцы-сорохваты и вынает из полымя алое марево. Во сне оно так и замирает на весу, ровно солнышко красное над студёным окоёмом.

Снова посвист позёмки. Дрёма прядает с вежд, будто мысь с ветки, да недалече. Куда ж ей бечь на ночь гляючи? Но ушки-то у той мыси на макушке.

Что за звуки имает слух? Ягняши ли в хлеву топочут, волка почуявши? Филин ли гугнит-ухает, осердясь на мышь, сослепу проворонив репишницу? Али говор чей доносится? Неужто служка? Очнулся малый да и принялся честить «Влесову книгу»: «...ибо в той бездне повесил Дажьбог землю нашу, дабы она была удержана». Не-ет, то не служка. Что разглядишь в мороке? Это ставенька бубнит, сиверику вторя, – то мерно, то скороговоркой, то будто жалясь на долю-судьбину, а то затихая-притаиваясь.

Снова сонная паволока накрывает вежды. И снова накоротке. Где-то встрескивает от стужи охлупень али кровельная доска. Тотчас взлаивает перепуганная собака и толь же быстро умолкает. А в слюдяную околелку опять хлещет снежным горохом. Эк разгулялся студенец, будто буян-забияка. До свету будет лютовать-зубоскальничать. А светать-то начнёт не скоро. Здесь, в Новегороде, зима долгая, а день короток, что тебе горобейкин скак. Не то что в стольном Киеве.

Миг всего – и сон-сороход уносит отрока на Днепровские кручи. Под подошвами ичигов осыпается глина. Меж ног снуют ластовки. Эвон как они утыкали крутояр своими гнёздами, ровно шорники хомутовую сыромятину завойными шильями. Стрекота береговушек не слышать, а вот куванье зегзицы доносится явственно, будто кто наказ даёт, лета меряя.

Отчина отворяется во все стороны, докуль хватает ока. Расплавленным золотом-серебром сверкает кипень реки. Ширь и

даль Днепра пластают струги и лады. Посередке ветрил – лики Ярилы, золотом вапленные. Издали паруса напоминают яблонный цвет, что порошит землю и воду. Явственно наплывает медвяный запах. И тут – диво-то! – из того летучего духа возникает образ маменьки. Утайкой от суровой бабени крадётся она к нему, роженому дитятке, дабы порадовать наливным яблочком да омыть кудёрки горячей слезой. Не она ли, та слеза, стекает сквозь сон на его взголовьице? А следом – чу! – ровно меч из ножен – врывается на круг сна батюшка. Тут запахи иные. Весь пропахший потом, конской упряжью, дымом костров, тя-тя-родимец тискает его, младеню, щекоча вислыми усами, даёт теребить оселедец – кручёную чуприну, серьгой золотой с камешками баловать, скалит крепкие зубы, что-то говорит, но речи не слышать, словно голос уносит ярым бореем за Днепровские пороги...

Где всё это, что ласкало-лелеяло твоё краткое младенчество, отрок? Нет уже старой Ольгицы, суровой бабени – почила о третьем годе. Нет уже и батюшки-буйтура – летось сгиб Святослав на ратище с печенегами, сложив буйну голову у Днепровских порогов. И мати твоя неведомо где, Малуша. Один Добрыня при тебе остался, брат матушки. Он и за мамку, и за тату, и за всех на свете родимцев и доброхотов.

2

Спозаранку, едва встав, отрок первым делом наведалься к старбене.

– Ну, батюшка, дождались, – молвила Улита, поправляя повойник. – Сончеворот приспел. Зима на мороз ладит да сончевишь, на летечко засбиралось. Сядет в дровеньки и в гору покатит.

А и впрямь ведь перемены округ, даром что ночь всего минула. То дуло, кулемесило, наворачивая сугробы. А ноне тихо, позёмка, что ведьмачила даве, вертя подолом, мышью-крупшицей обернулась, едва шевелит хвостиком да попискивает. Да и мороз-ухорез подустал и, похоже, не толь дерёт щёки, как намедни. Выпорхнул отрок на красное крыльцо, а ему возок подают – «Добра здравия, князенька!» – и под юфтевый сапожок ступеньку подворачивают. Владимир ласково всем кивает, мимолётно окидывая двор. Тут, само собой, Добрыня, новгородские первые люди, дале вершинки, вооружённые копьями да сулицами. Кони их ражие ярятся, всадники скалятся, похваляясь

удалью да буестью. Да то до поры. Взгляд Добрыни – окорот тем и другим. Разом все примолкают, едва юный князь восходит на возок.

Путь летучего поезда лежит к Словенскому холму. Это недалеко от княжеского терема, но Владимир велит править в объезд, вдоль Волхова – уж больно охота глянуть на реку.

Волхов закован в ледовую кольчугу и, мнится, спит мертвецким сном, ровно ратник после брани. Но как река бурлит под панцирем, так и жизнь кипит по берегам. Над хоромами дымы, столбами устремлённые в небо. У ближней проруби колготится нарядчик, очищая ивовым черпаком зеркало воды. По торной стёжке спускается молодлица с коромыслом на плече. Другая жёнка уже с полными бадейками медленно поднимается в угор. Вдоль реки тянется обоз с сеном.

Но больше всего по берегам Волхова нынче ребяшей. Обрадели, что угомонилась непогодь, прынули на берег горобейными стайками и ну щебетать, ратица шутейные устраивать да с крутояра на чунках летать. Но главное-то не это. Ноне важный день. Нать поглядывать на небо, упредить всех, когда раступятся облачные пелены да покажет свой новороженный лик пресветлый Ярило. И потому ребяши, то и дело задирая головёнки так что треухи спадают, ведут славицу: «Солнышко, повернись! Красное, покажись!»

Князенька не утерпел, скокнул с возка и присоединил свой ещё ломкий голос к общему кличу: «Солнышко, повернись! Красное, разожгись! В путь-дорогу снарядись!»

А красное-то словно его только и дожидалось. Словно не доставало ему одного-единственного голоса – зова князя. Встрепенулось оно, сначала мглистое, точно яишняя размазня – желток замутнённый белком; потом бледно-жёлтое, что переспелая морошина на мхе-ягеле; и наконец, растопив жаром облачные пелены, выкатилось, ровно молодильное яблоко на синь-блюдо али, как калёное зеркало, – на твердь наковальни, что под утро приснилось-привиделось князю-отроку.

Ребяши в крик: «Эге-гей, Ярило!» И Владимир с ними: «Эге-гей!» Колобком по кручам покатилося звонкое эхо, уносясь за излучину.

А ребяшам нет угомону. Они дале правят обряд, норовя пример показать Яриле. Садясь кто на чунки, кто на корезжки – доски с рожками, похожие на козлят, ребяши летят с круч, только снежная пыль завывается, мол и ты, красное-распрекрасное, погоняй своего коня.

Охота и Владимиру с ними, да дядька-пестун взглядом строжит: не по чину, княже!

А ребяши-то, – вот непоседы! – опять что-то затевают. На-ко! С горы огненное колесо покатилося. Запалили сорванцы рассохшееся тележное колесо, паклей набив ступицу, проёмы спиц, и летит оно, рукотворное Ярило, подскакивая на рытвинах, да искры калёные сыплет. Так бы и кинулся туда, на огненное катище, к сверсникам-подлётышам. Да нельзя. Добрыня кивком зазывает назад, мол, пора, княже, государевы дела ждут.

Князев поезд следует к Словенскому холму. Тут дедичами да отчичами свито стоглавое капище, венец Земли Новгородской. По закрайкам холмища – заколыши кудесников, балиев да волхвов, обвязанные пестрядиной, лесовой рукоплетицей и бусами. А посередь темени – столпы праотцов: Перун, Хорс, Мокош...

Ныне славный день – солнцеворот. Свет-батюшка Ярило повернул на лето. Стало быть, не прогневали даждьбоговы внуки своих заступников. Как тут не преклонить колени и не возблагодарить кумиров! Чередом и заповеданным чином кладутся к подножиям их дары. Тут брашна – явства и мёды, новокованная сбруя – мечи, секиры, боевые топоры – чеканы, а дале изукрасы – амулеты, фибулы, змеевики...

Радость на Земле Новгородской – новолетие зачинается. Вот как зычно да в лад ведут волхвы величание! Как следом зыгрывают гудошники-дудары, даром что мороз студит уста! А потом и скоморохи пускаются в круг, греясь пляской! А Яриле и любо это! Эвон как щурится, эвон как подмигивает красно солнышко из-за летучих облачков, а то и приплясывает, скидываясь с облачка на облачко, ровно снегирь с одной заснеженной рябинки на другую.

Величание подходит к концу. Простой люд стекает с холма по снежным веретейкам – кому в каку сторону. Конные воротят на торную дорогу – она одна. Последними завершают обряд ближние да степенные люди, которые, откланявшись князю, садятся в возки.

Обратно укороченный государев поезд, вертается ближней дорогой. Но передовые вершники к княжескому терему не подворачивают, а минуют ворота. Владимир оборачивается на дядьку: далече ли? А тот в ответ, кренясь с коня, хлопает себя по могутной груди: али забыл, княже? «А-а!» – лицо отрока озаряет улыбка: доспехи примерять.

В начале студенца Добрыня призвал к князю оружейников. Приспела пора новую сбрую справить. Сыновец растёт, рамена ширятся, плотью наливаются. Нать новую кольчугу, подзор, наручи. Нать шелом новый. Возьмётесь? Чего ж не взяться, ответили мастера, тут же сняли мерку с князя, завязав на верёвчатой сажени узелки, и назначили примерку на день солнцеворота.

И вот давешний сон оборачивается явью. Стало быть, в руку. Князенька с дядькой – в кузне Ярёмы. Тут дымно, стоит железный звон-гам, искрит железо, из кади с водой пыхает пар, из лохани с ворванью – чад, когда в них попеременно суют для закалу булат, творя при этом заговорные шептанья.

Горны кузнечные, коли в доспехах надоба, не гаснут ни днём, ни ночью. Оборона промедления не терпит, знай поворачивайся. Но для знатных заказчиков делается исключение. При появлении князеньки и его наперсника стукоток в кузне заметно смолкает. Отставив заделье, ковали стекаются на середку. На ногах бахилы полстянные, телеса фартуками грубой кожи окутаны, волосы берестяными гайтанами забраны. Чумазые, страховитые, белые зубы скалят. Ярёма, могутный, вровень с Добрыней богатырь, супит брови, остужая норы работников. Да при виде князя-отрока и сам не удерживает улыбки: «Многая лета, княже!»

И вот начинается примерка. На Владимира надевают ратные байданы. Кольца, из коих собрана кольчуга, вызывают боеву песнь. Верх борони пластинчатый, подзор – тоже. На запястьях кованые наручи, они оттягивают чешую рукавов и подчёркивают рамена. Всё пока схвачено на живую нитку. Но главного не отнимешь – скроено ладно.

Что ещё? Зерцало. Место для него посередь груди, там, где солнечное сплетение. Вот оно, ярое, вызревает в горне. Ярёма кивает напарнику, надевает нагольные рукавицы и зубастыми щипцами выхватывает из огненного бучила заготовку. Круглое и малиновое, как молодое Ярило, зеркало выкатывается на наковальню! И тотчас – бах! да бух! – молот и молоток берут его в обработку. Летят искры, горячая окалина, но коваль с молотобойцем не уворачиваются, принимая задубелой кожей все укусы калёных ос.

Выгнется зеркало до потребной величины, очистят его от копоти, высветлят дресвой, усилят лучистыми пластинами, особо украсят яблоко – середку зеркала, и заиграет оно на княжеской груди драгоценнее любой украсы, а главное, надёжно оборонит – и от стрелы, и от меча, и от копья, коли нацелены будут в его сердце.

Смущён князенька словами кузнеца. Громливы они, ровно удары молотка, что кладёт он следом за кувалдой, оттягом добиваясь нужной формы, но до чего же ласковы да задушевы. Как тут в ответ не улыбнуться! И Добрыня, похоже, доволен: «Ярила в гору – обнова миру. И у нас обновы», – завершает он примерку и велит, как токмо всё будет исполнено – смётано, сшито да склёпано – доставить сброю в князев терем.

Кузню Владимир с дядькой покидают. Однако обновление на этом не заканчивается. Впереди – золотошвейня, там украсы для коня.

Орь князев вороной масти давно объезжен. Обихоженный и сытно кормленный отборным овсом, он стоит в деннике княжеской конюшни и, когда выводят скакуна на двор, кажется, даже летучие тучи замирают, любуясь его статью и завидуя его норову. Упряжь для воронка шорники справили – и узду, и седло, и стремяна – всё честь по чести. И галдар на грудь вороного готов – ни одна стрела, ни копьё не поразят оря. Остались чепрак да покровец под седло, что в золотошвейне ладят.

При напоминании золотошвейни у Владимира вспыхивают щёки. Ох, и славно же там, в этой рукодельне. Ровно в саду на Подоле. Кажется даже, яблоки падают и пчёлы тягуче жужжат, до того всё чудесно расцветает, как в погожий день лучистого червеня. С мухояра – ткани бухарской – пышет алое Ярило. Смарагдовый оксамит – шёлк с ворсом из серебряных и золотых нитей – походит на траву-мураву. А согдийский шёлк-камку, кажется, вздымают на распахнутых крылах рукодельные жарптицы – струфокамилы.

Одно донимает князеньку – поглядки рукодельниц. Больно востроглазые девки-то. Так и стреляют очами – смуту неведомую доселе, поселяя в груди. Да ещё шепотки их, мнится, ехидные. Цыкнет на них старшуха – баба-бабариха, они примолкнут маленько, присмирят да поглядки-то не оставят.

Нонече, конечно, не то. Нынче Владимир с дядькой. При Добрыне девки-золотошвейки никнут, глаз не смеют поднять, ровно мыши крупяные хоронятся. Токмо сердце у князеньки всё равно трепещет, словно щегол в силках. Не оттого ли и ночью маялось? Не эти ли лесовые, русалочьи очи, на миг вскинутые, блазнились в потеми?

Покровец под седло швеям задался. Добрыня доволен. Багряная тафта, а по крайкам узорочье изумрудное, словно глаза павлиньи али... русалочьи. Ведь Добрыня не токмо узорочье примечает. От его ока не утаятся и поглядки. Вон как зыркнули

на сыновца те очи из-под брусенного повоя, что тебе стрела неминучая! Ухмыльнулся Добрыня в окладистую, на всю грудь бороду: рановато, однако. Да приметив ответный взгляд молодца, смекнул, что сроки те уже подходят, – ой, подходят! – вон как щёки-то его пылают, ровно солнышко нынешнее.

3

Сечень выдался ясный да солнечный, даром что мороз не отпускал. День прибывал ходко. На серёдке месяца надумал Добрыня свозить князя в Плесков – новгородскую вотчину. Киев уклад – ждёт, а Новегороду одному толь великую подать не осилить. Да и князю пора спознавать свои владения.

Град Плесков юному князю глянулся. Он оказался похож на Новегород. Кремль, детинец, и река в городе, правда, помене Волхова, хоть и Великая.

Псковский голова послал встреч княжескому поезду верховых. А в красных воротах встречали государя-новгородца хлебом-солью. Сперва в палатах городских, что на вечевой площади, сладили о размерах виры. Скобская знать держалась степенно – не юлила и не пыщилась – и ответ держала здраво и почестно. Да ведь с Добрыней инако и нельзя – он всё ведаёт: и какой был умолот, и сколько добыто зверя-птицы, наимано-насолено белорыбицы, насбирано пчелиной борти... Оно, конечно, скоко мер жита в ларе Гюряты-скудельника али репы в сусеках Гориславы, вдовицы кузнеца Угодяя, он не скажет. Но о казне городской, на сколько кун она тянет, представление имеет. А потому лучше не лукавь, а что положено – выложи. Чай, не на забавы берётся: на сбрую да комоней, без чего дружина – не дружина. А не дашь десятины, так ведь можешь всё потерять, и не токмо хоромы, лопоть и закрома – голову. Фряг ли, нурманн, свейский ли немец, али другой какой тать не станут годить, прознавши про твою скудную бороню, мигом кинутся на разбой. Тем паче тут, на самом порубежье. Никакие стены не спасут, коли не подсобит Господин Великий Новгород.

После того, как сладили о размерах податей и сроках, хозяйка повели дорогих гостей в трапезную. В застолье знатно попили-поели – не поскупились псковичи принять государя: чем богаты – всё выставили. А ещё скоморошиной позабавили, гудошниками-дударями слух умастили.

Князь Владимир, гляючи на игрунов, радовался, как малое дитя, даже пальцем показывал. Остался доволен и Добрыня, об-

ласкав кого взглядом, кого улыбкой. И так это сердце умаслило хозяевам, что они разохотились. Чем ещё порадовать дорогих гостей? А вот чем – и вспомнили про дар Ольги, бабени Владимира. На вечевой площади, обочь хором оказался амбар тёсанный, отворили его, а там сани – Ольгин подарок родимому граду Плескову от бывшей простолюдинки, ставшей Княгиней Киевской.

Внук обошёл дар бабени округ. Сани простые, без особых украс. На полозьях железы, оглобли в железной обойке, копылки не разохлись. «А ну!»

Загорелся князенька, потребовал запрячь. Привели ему с конюшни каурую кобылку: бабенина любимца, пояснили, молодая уже, да ещё тяглая. Запрягли. Кобылка взялась мягко и ладно – бубенцы на дуге не дрогнули, да пошла-то степенно, ровно мужня жонка под коромыслом. Миновали улицу, другую. Кобылка трусила в охотку, но – что приметил возница – будто клонит в одну сторону. Князенька поводья опустил, гадая что будет, куда вывезет каурая. А кобылка покатила вдоль реки и вывела не куда-то, а к крестовому храму. Вожатый вершник оказался крещёным. Он и пояснил, что церковь эту древесну в честь Живоначальный Троицы заложила христовая княгиня.

Вернулся Владимир на вечевую площадь. То румянцем щёки играли, а тут забледнел. Велел другую лошадь запрячь в бабенины сани. Привели ему молодого игреневого жеребчика. Тот бесом вьётся, кобенится, шею выгибает. А вступил в оглобли, будто подменили – запритих, присмирел, ровно старый мерин сделался. Князенька тронул, не в пример с кобылкой, завернул ошуйной вожжой, и только потом, когда далече откатили от реки, поводья ослабил. И что же? Да то же самое. Игреньвый орь уже другой дорогой привёз его к Ольгиной молельне.

В третий раз пытаться судьбу князь не стал. Призадумался, нащупал на груди ладанку, где покоился бабенин дар – кипарисовый крестик. Глянул на гречанина-мниха, который вышел на крылечко и, кланяясь, вроде бы манит. И уже было направился Владимир к храму. Да тут остановил его Добрыня. Видя смятение отрока, он велел подать другие сани. Да пошире, попросторнее, да чтобы с запятками. Мол, не в свои сани не садись, княже, – твои иные. И всё с шутками-прибаутками, облегчая Владимиру сердце.

Воля Добрыни – и для князеньки воля. А уж для вотчинного люда и подавно. Живо подали расписные сани, не сани – гусли на полозьях: кузов просторный, по днищу – сенная попона, в ногах – милоть овчинная. Изволь, государь!

А князьенька, похоже, и рад такому обороту: не в свои, так не в свои... Тем паче, что поданные и впрямь куда как красовицей. А уж конь какой в упряжи – не сыскать: могучий, ражий, вороного отлива, особо ярого противу снега. Не орь – клубень перуновой тучи на громобойном раскате. А вожжи шелковые, украшенные бирюзой да окатным жемчугом, что молоньи.

Дядька доволен – добрая запряжка. Но чего-то тут не хватает, хитро щурится он. По знаку Добрыни на запятки вспархивает стайка девок-белянок. То-то щебету раздаётся, словно снегири прыгнули на огорожу! Вот теперь в самый раз, усмехается дядька.

Князьенька вспыхивает. Огненный глаз жеребца, пар из его раздутых ноздрей, волнистая дрожь хребта, вскрики белянок, поглядки челяди, широкая улыбка Добрыни – всё восплаляет сердце князьеньки, наполняя его восторгом. Он трогает поводья. Добрыня на ходу наказывает вершникам, чтобы стерегли, чтоб завернули буде понесёт вороной в яруги. А из-под копыт – уже замята снежная...

Повозка устремляется к воротам. Черета крепостных запон. Ворота Смердье, ворота Великие – перед князем всё нараспашку. И вот уже сани вылетают за кром – и наёмом по наезженной накати, которая скётся вдоль Великой. Застоявшийся орь горячит кровь, переходя на галоп. На раскатах сани заносит. Девки с запяток сыплются, что горох. Смех, визг, причитания. А князьенька знай настёгивает, никому не давая спуску. За спиной, кажется, ни души – облетели. Обернулся. На-ко! Одна из белянок так и прикипела к гребню кузова. Волосы, выбившиеся из-под убруса, снегом обмётаны, губы прикушены, глаза иссечённые встречным свистом, прищурены, однако страха нет, отчаянье, безоглядность – будь что будет! – вот что в них.

«Тр-р!» – вскидывается князьенька, одерживая жеребца, тот ещё в запале, бешеным глазом косит – пошто неволишь? – но натяг вожжей кобенит шею, и вороной медленно утишает гон, переходя на крупную рысь. Не ослабляя поводьев, князьенька мотает головой, мол, давай в сани. Белянка ждать не заставляет, живо переваливается через гребень и тут же оказывается в князевых объятьях.

«Звать-то?..» – пыхает он жаром. «Лю-ба-ва», – она едва разлепляет губы. Глаза синие, ресницы в инее. Щёки горят. А губы-то не застыли. Это князьенька сознаёт, прикикая своими. И до чего же жаркими они становятся, смыкаясь в союзе.

Вороной, не чуя узды, перешёл на шаг, а потом и вовсе встал. В снежной замяти нащупал соломенные охвостья. Выбил

копытом, втянул слабый запах, глазом проследил куда ведёт житная натруха – вон куда, к овину, что на взгорке. Ворота распахнуты – то ли забыли затворить, то ли открыли проветрить. И он потянулся на запах.

Вершники князевы остаются позади. Добрыня наставлял, чтобы глаз не спускали, а коли надо – глаза не мозолили. Вот они и застывают на ближних холмах. Отсюда хорошо видать Скобское озеро, откуль чинят набеги немцы, а также лесовая опушка, откуль крадутся, бывает, оголодавшие зазимьем волки. На холмах стылый тягун. Вершники зябко ёжатся, кляня погоду и службу, да втихаря пеняют князеньке: видать, голову потерял, юнак.

А князь и впрямь потерял... Ведь впервые. Очнулся только на миг, когда вороной втянулся в суметки овина. Донёсся слабый житный дух, запах прелой соломы. Не отсель ли тянут соломенные снопы, чтобы ладить Кострому, которого потом запаливают на крутояре?.. Догадка коснулась только краешка сознание – пыхнул сам. Что ещё осталось в памяти, так это облеск удивлённо-обиженного конского глаза, дескать, что ж ты, хозяин, не ослабил удила, не дал потереть разгорячёнными губами летошной соломы, в которой запуталась повилика?..

4

Радостный и какой-то замедленно-торжественный, неся себя, как налитую всклень чашу, вернулся Владимир в свою столицу. Он желал, чтобы новгородцы увидали Любаву, оценили его выбор и одновременно противился, чтобы чужие глаза касались его зазнобы. Раздираенный супротивными чувствами, князь проехал в открытом возке по всем концам Новгорода, словно напоказ выставляя Любаву, а потом затворился с нею в своём тереме и глаз не показывал.

Новгородцы маленько поусмешничали над своим князенькой, пошто, дескать, девка-то не своя, а скобская. Но распаляться ревностью шибко не стали, объясняя выбор наследственностью: Ольга де бабка тоже ведь отсель. Ничего, пуцай малый покуролесит, на то и молодость – нешто не понятно. Но уже на верхосытку-то новгородскую беляну подберём, а там и оженим князеньку.

Разговоры те заглазные не доходили до Владимира, собачим брехом утихая у господских ворот. Да что с того! Квашня отдельная, да закваска-то в ней та же бродит. Оттого и непри-

ютно стало Владимиру даже в своём тереме. Искал уединения, укромного уголка для себя и для Любавы, а тут куда ни ткнись – везде бабки-бабарихи, постельничьи, сенные девки... Ране-то не замечал, сколь их много. А нынче будто нарочно на глаза лезут. Осердишься, бивает, прогонишь – да опять явятся. А не явятся, так сам начнёшь скликать: без челяди-то ведь не обойтись.

Добрыня, смекнув, что деется в сердце сыновца, опять поманил князя в дорогу. На сей раз в полунощную сторону, в пятинные урёмы. Нужды, по чести сказать, особой нет – народишку там немного, недоимки невелики. Да и не княжеское это дело – за данью ехать, куны собирать. Но уж коли начал князь входить в управу, – Плесков проведаль, бабенину родину, – так надо и другие окрайки вотчины оглядеть.

Обрадел Владимир: он готов, он немедля готов в путь; то-мо, само собой, с Любавой. Добрыня кивнул: добро, сыновец. Да слегка остудил его: дорога-то дальняя, нать сготовиться, собрать обоз. Да и тебе, княже, возок сладить. При этом он ласково улыбнулся зардевшейся Любаве.

* * *

Обоз двигался тяжело и медленно. Здесь не торная накать, наезженная купецкая дорога меж Новгородом и Плесковым – тут нетронутые снежные урёмы, которые с ходу не возьмёшь. Поперёд поезда пластались битюги, которые тащили еловые волокуши, распахивая наст своим весом и хвойными хвостами. Дале пёрли парные запряжки, кои волокли широкие катки, продавливая снег и образуя путь. А уж по тому пути катили сани, в том числе и князевы.

Возок князев вышел ладный и просторный, не возок – изобка на полозьях. Дверца, оконышко, крыша – всё, как водится. Разве что печурки нету. Зато для тепла изнутри всё обито пушной рухлядью: в ногах – медвежья полость, по стенам-потолочине – соболейки, бобры, куницы. Никакой вихорь не возьмёт. Так уверяли князеньку мастеровые, что обшивали возок.

Походная изобка вышла и впрямь справная – стужу не пу-скала, а тепло удерживала. Но пуще всякой полости меховой согревала молодца любовь – аж в жар кидало. И уж тогда вос-палённому сердцу не было никакого удержу. Обуреваемый ликованием, новыми, доселе неведомыми чувствами, вымахнет князенька из возка, взнуздает пристяжную кобылицу и ну – впе-

рѣд, по целику, по бездорожью, покуда каурая не запалится, не завязнет в безбрежных снегах, а у всадника не перехватит дыхание.

Обоз двигался с рассвета до сумерек. Ежели не достигали очередного острожка али какого семейного починка, ночевали в поле, сбившись округ княжеского возка – так распорядился Добрыня. А с рассвета вновь пускались в путь.

Разомкнёт Владимирко очи, заслыша бряцанье колокольцев да скрип полозьев: где это я? Поднимет голову – в суметках мерцает светлый лик. Обрадеет князенька, сладостно улыбнётся, потянется всем своим юным, наливающимся телом, распахнёт дверку возка и полной грудью вдохнёт ядрёный морозный воздух. Здравствуй, батюшка Ярила! – отвесит поклон восходящему солнышку, окинёт наливающийся светом простор, метнёт взгляд вдоль обозной веретей – головка поезда за буераками, а хвост ещё не показался, толь он велик – и засмеётся чему-то, счастливо и безмятежно, как бывает только в юности, а потом захлопнет дверцу и кинется под бобриную полость в тепло и сияние просыпающейся, как утренняя зоренька, Любавы.

В Тервиничах, погосте на реке Ояти, обоз стоял цельны сутки. К той поре он заметно укоротился – гружённые пушниной да белорыбицей дровни по мере надобы возвращались восвояси. Оставшиеся повозки Добрыня разделил на две части: половина поезда отправилась огибать Онего-озеро с восхода, а половина с заката. Князеву дорогу он думал сперва торить ошуйкой, правя на Спирков острог, да перед самым выходом переменял решение. С закатной стороны места безлюднее да и до засеки пограничной недалеко. А ну как опять нагрянут нурманны, как было о третьем годе. Это в городе они смирные, когда с товаром али за товаром, а в лешем раменье – чистые волки. Не сладить ведь будет с разбойниками при толь малой дружине, к тому же разделённой наполю. Уж лучше очурать князя да пуститься с десницы, правя на Тудорову заимку. Так оно, знамо, доле, зато места там обжитее, ежели что – посельщики подсобят.

Князенька не вмешивался в распоряжения Добрыни, всегда и во всём доверяясь дядьке. Да и не шло, коли по чести, ничего молодцу на ум, до того сердечный жар растоплял весь его ещё невеликий на ту пору рассудок. Ведь ежели даже матёрый глухарь теряет голову, заводя зазывную свадебную песню, то что уж говорить про сеголетошнего?!

Зато Добрыня, как всегда, был начеку. И сам оберегал сыновца, неназойливо за ним доглядая, и походных людей настав-

лял, а ещё приставил к князьке Ставра – своего нового гридя. Это был тот самый скобской вершник, который сопровождал Владимира до бабениной церкви. Ладный, спорый, остроглазый, приказы ловит на лету, исполняет их живо и толково – вот этим он и приглянулся Добрыне. И хоть тамошний волхв остерегал воеводу, мол, Ставр на капище не оследится и от заповедей Перуновых отступил, Добрыню это не остановило, залучил молодца под свою руку без промедления: «Крест сброе не мешает!» А к сыновцу поставил ещё и потому, что Ставр оказался родным братом Любавы. Почитай, свояк князьке. А коли так, то с одной стороны не будет мозолить глаз – не чужой, чать, а с другой при надобе и глаз с господаря не спустит.

Санний поезд миновал несколько насельных гнездовий, пересёк реку Водлу и достиг Водлозера. С Водлутова острога – Добрыня послал гонца. Путь его лежал на окрайку Студёна моря, где в устье реки Онеги был срублен последний обонежский острожок. Онежанам было велено передать, что назначенную мыту надлежит доставить к новолунию в Повенец.

Повенец, окрайку Онега-озера, Добрыня определил вершиной долгого пути. Туда нацеливалась вторая половина обога. Оттуда предстояло всем возвратиться. А поджидая дани с Онежской заимки здесь можно было дать отдых лошадям да и самим передохнуть перед обратной дорогой, благо жилые клетки в здешних местах рубились просторные.

Острожек Повенец Владимиру глянулся. Скалистые берега, могучие звонкие сосны, незамерзающие падуны, в которых золотыми рыбками играют радуги, отражаясь в очах Любавы – всё здесь веселило сердце князьки. А оглядел со скальных высот дали – от этих просторов, уходящих за окоём, аж дух захватило. Вот она, его державная вотчина, могучая и прекрасная земля Новгородская, нет ей ни конца, ни краю, как нет конца краю самой жизни. Он порывисто обнял Любаву и приник к её губам. Юная дева и родная земля слились сейчас воедино, и сердце Владимира, переполненное любовью, в этот час воскрылило.

Держава его полунощная представилась князю огромным стягом. Острие ратовища, на котором величаво колышится державный стяг, здесь – в Повенце. А он князь, государь этой земли, стоит на самой вершине. Какой силой налились тут рамена Владимира! Но того боле князь ощутил силу духа – могучего и неукротимого, доставшегося от отца-воителя, который его, тогда ещё дитяню, поставил на Новгородский стол!

А накануне возвращения, в последнюю ночь в Повенце, приснился Владимиру сон. Да такой дивный, толь ошеломляющий! Широкая лесная просека, а по ней, как по каналу, плывут струги. Нет не струги, не расшивы да насады – какие-то великие о двух мачтах корабли. И не плывут – их тянут волоком по каткам-брёвнам. Звуков не слышать, но оттого ещё более явственнее предстаёт, сколь великая работа здесь творится, словно потаённая тишина усиливает видение. Тьмы и тьмы работников гуртятся вокруг парусников: одни рубят просеку, другие стелют брёвна поперёд корабельного носа, третьи волокут бечевой, спотыкаясь, падая, тяжко дыша и харкая кровью. А над всеми над ними, закаменев в седле, высится могучий всадник. Кафтан его сливается с цветом тайги, зато лицо видится ясно. Оно белое, будто мглистое небо над просекой. На нём чёрные встопорщенные усы и тёмные безумные глаза, в коих восторг мешается с гневом.

Дивный сон обратился в приступ любовной страсти. В ту ночь князь был неукротим. Он довёл юную деву до иступления, толь могучий огонь в нём занялся.

После жарких объятий выскочил князь на мороз – босой, в одной тельной рубахе – и обмер, заворожённый. В очи бросилась небесная озимь, засеянная звёздным житом. А ярче всех горели созвездия Большой Мокоши и Малой Мокоши. Ровно топоры-чеканы, обращённые обушками друг к другу – Большая лезом вниз – голову сложить, Малая лезом вверх – миловать, – они издавали едва уловимый перезвон, будто только-только сшиблись. Не оттого ли чуть дрожала-мигала самая крупная звезда, подъятая всех выше, Матка-Полуночица.

А дале и вовсе дивноестряслось. На небесном огнище раздался шелест, будто к труту поднесли кресало. Тотчас же пыхнули, заискрившись, сполохи и побежали, как весенний пал. И вот уже небесный огонь орлино распахнулся от окоёма до окоёма. Князь глядел во все глаза, не чувствуя стужи. Перед ним разворачивалась какая-то весть – небесная берестяная грамота, багряно-золотая, ему, он чуял это, предназначенная. Но что на ней начертано, разобрать не мог. Тут выше в зазоре между Малой Мокошью и Большой Мокошью возникло млечное, будто скатная жемчужина, пятнышко. Оно то ли приближалось, то ли, проявляясь, увеличивалось, всё яснее открывая очертания. И что же наконец различил князь Владимир? Над орлиным распахом сияния, неинако небесного отражения державы, возникли не то купола храма, не то шишаки державного венца – вот, что открылось ему в той млечной жемчужине.

Видение длилось недолго – всего несколько ударов бегучего сердца, потом тихо сгасло, растаяв в мороке, а следом погасла и багряно-золотая грамота, свернувшись в отемневший свиток, словно орёл сложил крылья. Но очарованный князь всё стоял и глядел в небо, ожидая продолжения чуда, пока лопатки его не пронизал озноб. Его знобила не стужа, его охватил восторг. Не венец ли киевский посулил Дажьбог на вершине его нынешних владений, Повенце? – такая надея запала в сердце Владимира и боле никогда уже не оставляла.

5

Исполненный невиданных доселе обретений и ожиданий, кон посулило звёздное небо, возвращался Владимир-свет в Новгород. Уже припекало. Шалый ветерок доносил запахи тальника, обмякающей волглой земли. Душа князя, полная молодецкой буести, словно воздымалась на стремях, торопясь оглядеть дали и умчаться за окоём встречу грядущим переменам, а сам он летел в открытом расписном возке. Обнимая Любаву, на шее которой мерцало вербной свежестью жемчужное ожерельице, доставленное из Обонежской пятины, Владимир погонял лошадей и улыбался. Верилось ему, что вот так всю жизнь будет он мчаться со своей милой, любя и её, и свет белый, и свой народ и державу свою величавую, орлинно раскинувшуюся...

Эх! Знать бы где падёшь – там соломки бы подстелил. Забыл, видать, осторожку князьенка. Оттого, верно, и Ставра отпустил, повелев скакать в стольный город и запалить встречальные огнища.

Уже недалече был от Новгорода санный поезд, уже показались передовые заставы, как что-то спугнуло коренную кобылицу: ветер ли в ноздри шибанул, тень ли прынула на глаза, горностайка ли через дорогу метнулся, ослепший от весеннего первосвета, да только понесла та кобылица, ровно судьба. Возница на тот час был расслаблен, обуянный сладкими помыслами. Однако же не уступил, удерживая её на вожжах, и окоротил, заворачивая змеино-лебяжью выю, сладил. Да тут на беду – раскат. Сани занесло, потащило под угор, они завалились набок, Любаву выбросило из возка и кинуло на берёзу. А там сучок – аккурат по виску. Только и прошептала успела, бедная, что дитятком занялась.

Загнал коней князь, торопясь достичь градского капища. Корневой волхв Гюрята, который запалил встречальные ко-

стры, всё понял без слов и, не мешкая, переменял обряд, стянув смольё на одно огнище. Полымя взвилось едва не вровень с кумирами. А Гюрята, выпучив глаза, завыл-зарокотал, моля о милости небесной. Распростёртую на санях белицу обступили знахарки-ведуньи – обмывали отварами да дымом духовым обносили. Добрыня, простая душа, нарушаючи родовые запреты, велел привести на капище жертвенную лопоть. Пригнали быка кодольного с кольцом в ноздрях да стельную корову. Бугая трое гридей пронзили сулицами, поставив его на колени перед идолом Перуна. И бык засмертно замычал, вторя стенаниям волхва. А Добрыня поднял кладенец и разрубил от хребта до вымени стельну корову – только мыкнула сонная, так ничего и не поняв, а из ложесны вывалился в белом облачке, словно из ирия-рая, нерожённый телёнок, до срока явившийся на свет и погибель. Обмазали жертвенной рудой столпы Перуна, Хорса, Оря, Велеса... Пришёл черёд Мокоши. Обмазали её пакши по локти, потом по плечи. «Верни, искусница, беляну!» – возопил Гюрята, усмиряя рыком огни капища. Только ни кровинки не прибавилось на лице белицы. Лишь ранка на виске, перестав точиться, затворилась.

Белее снега была Любава, когда ставили колоду с её телом на Перыни. Чернее клубов погребального кострища сделался молодой князь. Ещё вчера ликующая Явь выстилала для них бесконечно-дольные пути, сотканые из любви да солнечного света. А нынче все пути затопил морок беспощадной Нави.

* * *

Потеряв Любаву, заболел-зачах в тереме князь Владимир, глаз не казал и видеть никого не желал. Даже дядьку. Как ни бился Добрыня, подсылая к сыновцу то старую Улиту, то гудошников-скоморохов, то бабарих-заговорниц, ничего не помогало, никак и ничем не удавалось смыть морок с души князя.

А тут вдобавок ко всему ненастье обрушилось. Зима-морена, на ту пору уже было присмирившая, опять принялась править, словно навьи чары оковали не токмо сердце князя, но и его державную вотчину. Ярились шатуны-морозы, вопящей ведьмой металась пурга, хотя давно минул берёзозол и подходил к концу цветень, словно весна совсем заблукала по дороге в Новгородские земли.

Раз, когда позёмка угомонилась, в дальней горенке, где горевал-тужил неутешный князь, сама собой растворилась околелка

и на раму порхнула синичка. Князь поднял голову. Синичка кивнула, ласково цвиркнула, а из клювика её выпала окатная жемчужина. Князь даже слышал звук, похожий на капель. Однако как ни искал, когда синичка упорхнула, так ничего и не нашёл: то ли та жемчужина закатилась в щель, то ли просто привиделась.

Князь подошёл к растворённому окну, замедленно глянул на волю. И вот тут случилось чудо. Небо, дотоле затворённое на все запоны, вдруг раскрылось и на синь его огненной жар-птицей вымахнуло красно солнышко. А тут и Волхов очнулся. До сей поры не открывавшийся, туживший вместе с князем, Волхов, завидя господина Земли Новгородской, вдруг разорвал ледовые путы и отразил на полюбование князю и синь неба, и оперенье той жар-птицы. А следом и синица воротилась, чудесно обернувшись красной девицей на угоре. «Любава!» – вспыхнул князь. Кинулся из терема, сгорстал её, исцеловал, слезами улил, до того обрадел. А за слезами-то теми и не различил, что другая была. Это так потом плели сердобольные бабарихи.

Памороки у молодца мало-помалу сгасли, утишились, душа просветлела, очистившись от навьей мглы. Да только сам он не пожелал возврата в прежнее состояние – кротость да добронравие. Войдя в молодеческую охотку, князь теперь походил на всадника, обратавшего необъезженного жеребца – до того дики подчас становились его выходки, так шарахало его то в одну, то в другую стороны. Но ведь вроде как не сам, виной всему тот неукротимый жеребец, которого взнуздal князь, но который не желает признавать удил, а кобенится и летит без пути-дороги.

Верный дядька поначалу было затужил, завидя, чем обернулись его уроки да долгие караваны на окрайки вотчины. А потом-то смекнул, куда вынесло молодешеньку и, обрадованный, что сыноvec одолел невзгоду, стал потакать да подыгрывать в его молодеческих играцах.

Новгород никогда благодравием не пыщился. Выросший на любви да буести, он почитал в князьях норов и вольность. А потому молодому господарю, как любимому чаду, спускалось многое. Поглянулась князю девка – дак ведь то Перун показал, чей наместник здесь князь. О том и волхв твердил на поклонах. А коли случалась пря и отцы-матки бунчать начинали, тут встречал Добрыня. Где окриком, где усмешливым словом, где ласковым обхождением, а то и гостинцами – кунами да медами – улещал он затевавшуюся котору. Новгород – не Киев, тут живо вече взбулгачит, коли не осекёшь, не остудишь в зачатке.

Юность Владимира, гульливая да норовистая, что тебе Волхов в половодье, окончилась разом на восемнадцатом году. Из стального града Киева пришло известие о гибели Олега, среднего брата, что сидел в Овруче на Древлянской земле. Погиб Олег, как и пращур-тёзка от коня своего. Токмо в отличие от коня Вещего Олега, его орь пал с моста и, падая, задавил князя. Случай житейский. Недаром толкуют, что конь о четырёх ногах и тот спотыкается. Вот и тут такое стряслось. Так писал Ярополк, старший брат, который сидел на Киевском столе, приглашая младшего брата Владимира разделить скорбь и справить по Олегу тризну.

И поехал бы, верно, Владимир в стольный град Киев, дабы помянуть родовича, да токмо днём раньше верный гонец донёс Добрыне истинную причину гибели древлянского князя. Оказывается, всё началось с того, что князь Олег застал в своих вотчинах Люта, сына Свенельда. Отпрыск варяжского воеводы, стоявшего на службе у Ярополка, никого не спросясь, вёл на древлянских землях ловитву. А обнаруженный за промыслом держался дерзко и занозчиво. Больше того, на справедливые попреки хозяина незваный гость ответил грубостью. Князь Олег наглости не стерпел и решил проучить татя. На беду, стычка та завершилась кровью, а рана Люта оказалась смертельной. Олег послал в Киев покаянную весть, объяснив, как всё произошло. Да токмо это не помогло укротить Свенельда. Разъярённый варяг поднял дружину и намётом кинулся в Овруч. Говорят, Ярополк отговаривал его, дескать, остуди сердце, надо прежде разобраться, чем карать. Но варяг остался непреклонен и, якобы, Ярополк вынужден был последовать за ним, дабы на месте разобраться и унять торох мести. Только всё оказалось тщетно. Варяги пришли карать. Дружина Олега, вышедшая на встречу с миром, была смята и жестоко посечена. В панике остатки её бросились к воротам, и вот тут-то в давке конь Олегов и был снесён за кромку городского моста.

По зову Добрыни в трапезной княжеского терема собрались наилучшие люди Новгорода: бояре, тысяцкие, купцы, сотские, статейные ремесленники. Сразу порешили, что неча князю делать в Киеве – не для того столько лет растили-лелеяли, чтобы отдавать Владимира на закляние. Ну, а коли так, нать готовиться к бороне, потому как Ярополк, получив отказ, сам явится с псом Свенельдом за князевой головушкой. И тогда сразу пере-

шли к делу, смекая, сколько Новгород готов выставить дополнительно конных гридей, сколько может собрать пешников, какая сбруя понадобится, чего хватает, чего недостаёт...

Сбор тот окрылил Владимира. Он и не ведал, что Новгород толь почитает и жалует его, ровно любимого сына. Ну, а коли так... Вот тут-то в первый раз князю явственно вспомнились высокие знаки, открывшиеся в ночном повенецком небе.

На зов Ярополка прибыть на тризну Владимир сказался больным, о чём известил его, послав в Киев гонца. Так наставлял Добрыня. А ещё о том по всем концам Новгорода многократно возвестили зычными голосами биричи, дескать, заступился князь на медвежей ловитве, в жару лежит.

Меж тем по согласию малого стола, на коём собрались только бояре да тысяцкие, отправился князь тайно в немецкую сторону. Дружина варяжская, может, и не понадобится, заключили стольники, да ведь лишний меч что на обороне, что – тем паче – на охоте никогда лишним не бывает.

7

Сколь окрылён был Владимир, отправляясь скликать варяжскую дружину, столь задумчивым он возвращался в русские земли во главе наёмной рати. Погиб брат Олег. Впереди встреча со старшим – Ярополком. Что сулит она – то, ведомо верно токмо Перуну. Но что несёт приход в родные веси чужеземцев – гадать не надо. Собирая наймитов – свеев, ляхов, чехов... – он манил их хорошей добычей, но ведь уже тогда ныло ретивое. А теперь, когда это войско двигалось на соединение с новгородской дружиной, дабы, сомкнувшись, идти на Киев, у князя вся душа изболелась. Ведь чужаки правят не гостевать-гулевать – бить да грабить. И побиты и посечены будут свои, русичи, даром что они под рукой Ярополка. Вот, что терзало его сердце и от чего маялась душа. Он ведь был ещё юн, князь Владимир, и не настудил сердца.

Добрыня при встрече, едва побратались-перемолвились, живо понял, что творится с сыновцом и смекнул, что не боец князенька, коли его не раззадорить. На пути соединённой рати лежал Полоцк. Нужды здесь задерживаться не было. Что там сотня-другая воев, которые примкнут. Сил и без того достаёт. Князь привёл тьму варягов, того боле тут своих. Почитай, с каждого Новгородского конца ратники – более других Неревский конец выставил да заречный Словенский, ни боярство, ни ку-

печество не поскупились на дружинников; да и другие концы не отстали, и Загородский, и Плотницкий, и Людин. А ещё земли дальние – чудь, кривичи, весь, белозёры. И хотел воевода уже мимо Полоцка полки провести. Да призадумался. Нет нужи в ратной силе, так есть надоба в союзе, тем паче в таком – ведь полоцкий князь Рогволд, хоть и дальний, но Рюрикович, владелец древнего стяга. А войну решают не столько сбоя – мечи да луки – сколько боевой дух, вознесённый на стружках знамён. Это хорошо ведал старый боец и богатырь Добрыня.

Перво-наперво воевода напомнил князю о Рогнеде, дочери полоцкого князя. Чем ещё молодешеньку завлечь как не девичей лепотой! Владимир запомнил Рогнеду. И хошь юна была тогда, несколько лет назад, когда вместе с бабушкой приезжала в стольный Киев, красота уже запечатлелась на её лице. Дважды Владимиру повторять не понадобилось – велел засылать сватов. Сваты съездили в Полоцк, да вернулись удручённые. Рогнеда отказала Владимиру. Причём как! «Не хошу розути робичича...» Разувание невестой жениха – часть брачного обряда, знак смирения и покорности жены. Не хочешь стать княгиней Новгородской – дело твоё, может, ещё и пожалеешь, что отказала, ведь Новгород куда как сильнее и богаче Полоцка. Но «робичич»! Давно не поминал никто, что мати его холопка, рабыня, что сам он полукровка. Кичишься своей знатностью, чистотой рюриковой крови! А ну как мы проверим, какова на цвет да на вкус ваша хвалёная кровушка! Осерчал Владимир, вскипел. То-то любо это было Добрыне. А когда донесли, что к Рогнеде сватался Ярополк, и она дала согласие, Владимир и вовсе рассвирепел. Вырвав из ножен харалужный меч, он вздыбил коня и метнул войско на приступ.

Полоцк был взят с ходу. Рогволд и вся его родня попали в полон. Ослушников ожидала смерть. Но прежде, по знаку Добрыни, разгорячённый Владимир поял Рогнеду на глазах отца и братьев.

* * *

В Древлянскую землю Владимир заходить не стал, обошёл краем. Ничего хорошего там его не ждало. Могила Олега? Так боевого духа она не прибавит, а вид её, скорее, ввергнет в печаль да токмо усилит душевную смуту. Союз с древлянами? Так он едва ли возможен. Небось по сию пору помнят норы бабени. Мстя за убитого Игоря, мужа своего, Ольга напустила на древ-

ленский Искоростень голубей с горячей паклей и дотла спалила его вместе с насельниками. Какие они с такой памятной метой союзники? И кто поручится, что кровники тех, кого заживо сожгла Ольга, не причастны к гибели Олега?

Думы о бедном брате возвращали его в детство. Владимиру вспомнилось, как играл в младенчестве тятиной серьгой. В ней были три камушка: два греческих адаманта, светлых и сверкавших, и рубин. Может, камень цвета крови и был знаком Олега?

* * *

Весна-красна торопилась на полуночь. Её невидимые красна непрерывно ткали цветные ковры и выстилали пути-дороги. Столь же стремительно сводное войско двигалось навстречу весне, напрочь вытаптывая весеннее первоцветье. В конце травеня полки Владимира, ведомые Добрыней, достигли Киева и спешили на левом отлогом берегу Днепра. Цель была на расстоянии пущенной стрелы.

Зачерпнув шеломом воды, князь утолил жажду, смыл с лица пыль и выпрямился. Крепостные стены Киева, чуть размытые утренней дымкой, отражались в Днепре. Над забрелом всходило Ярило – красное, как стяг князя, оно всё более наливалось золотом. Владимир сощурился, взгляд его скользнул к урезу воды, и тут грудь князя исторгла тяжёлый вздох. Отчего опять затужилось Владимиру? Что встревожило утренний покой? Да минувшее вспомнилось.

Случилось это поболее десяти лет назад, когда он совсем ещё дитятей был. На то лето отец опять увёл дружину из Киева на Дунай воевать болгар. Осиротели они, его сыновья, оставленные на бабку. Осиротела земля киевская, спокинутая Святославом-защитником. Вот тут-то и появились под крепостными стенами печенеги. Сколько их было? Тьмы и тьмы. Они осыпали город дождём огненных стрел, они вели подкопы, они бросались на приступ. В пожарах, под саблями и стрелами степняков гибли и без того немногочисленные защитники. Силы киян таяли. А помощь не шла. Княгиня Ольга слала тайных гонцов, дабы возвратить непутёвого сына – родные детушки погибают. Да ещё беспрестанно молились, мечя поклоны перед писанным ликом и понуждая их, своих внуков, твердить спасительную молитву. «Истуканы древесны, что тесовый тын, – твердила старая, – коли схоронишься за ними – от стрелы уберегут. А крест Христов отведёт и стрелу, и хворь, и напасть житейскую».

А ведь и впрямь отвёл. Потайному подземному лазу выбралась княгиня с внуками на Подол, к самому урезу воды, где поджидал их стружок. Потёмки до поры скрывали побег. Да в свете костров и факелов дозорные печенеги заметили беглецов и принялись осыпать их стрелами. По знаку Ольги прынули внуки на дно стружка, тесно прижавшись друг к другу, а она, как крестовая тень, пала сверху, укрыв внучат своей плотью, а главное – духом. И ведь ни одна стрела не коснулась их. В носу и в корме стрел понатыкано. Гребцы какие перебиты, какие ранены. А их беда миновала. «Дух Божий отвёл!» – озарённо твердила Ольга, когда стружок ткнулся в берег на Оболони. Истово молилась и их, внучат, поставила на колени, наставив благодарить Господа за чудесное опасение.

Какие они с братьями были тогда счастливыми, как обнимали друг друга, в радостном тисканье выжимая остатний страх! Как влюбленно-нежно тыкались в бабенины ладони и безропотно исполняли все её наказания! Как обещали всегда чтить её, оберегать сердечное братство, истово служить отчине и дедине!

Слёзы умиления и благодарности заточились из сердца Владимира. Он опять размяк и не в силах был ничего с собой поделать. Да и то. Ведь здесь, вот на этом самом месте завершилось чудесное спасение, и они, трое братьев, сыновей Святославовых, стояли на коленях, вторя молитве.

Добрыня понял состояние сыновца. И на сей раз не стал неволить душу его. Сам всё порешил. Главное что было? Главное, чтобы обошлось всё малой кровью, если кровь киевского князя посчитать за малую жертву. Но так уж распорядились звёзды. Так угодно Перуну, о чём доложил походный волхв. А уж чтобы крови той не оказалось на руках русичей, позаботился сам воевода. Зарезали Ярополка варяжские наймиты, причём споро. Ярополк, обнадёженный и успокоенный, что Владимир предлагает мир, даже трепенуться не успел, когда его пронзили под пазухи варяжскими мечами.

Видение повенецкое обернулось явью. Владимир занял Киевский стол, обретя венец большой Руси. Он ведь именно так истолковал тот чудесный небесный знак – млечно-жемчужное озарение.

Обходя державные палаты, Владимир то и дело будил свою детскую память, толь много тут было того, что напоминало и

о бабене, и об отце, и о своей ранней поре. Ему опять представилась тятиня золотая серьга с тремя камушками. И тут на ум пришла поправка. Рубин – это знак не брата; знаки Олега и Ярополка – белые, обескровленные камни. А рубин рдяный, как красно солнышко на восходе – это камень его, князя Владимира, восходящего государя Киевской Руси.

* * *

Сев на киевский стол, Владимир первым делом решил избавиться от вчерашних союзников, которые, как он и предчувствовал, начали грабить, сильничать и чинить смертоубийства. Спровадил он варягов миром, решив, что ни к чему обрастать лишними врагами. Наладил их за море Русское, Чермным называемое, к византийскому императору Константину. По окрайкам Византии, наследницы угасшей Римской империи, шла пря. Кому же там ратиться, как не таким вот разбойникам, для коих жизнь что своя что чужая – древесна труха?! Однако, направляя варягов за море, Владимир тайно предупредил василевса, чтобы тот держал наёмников на расстоянии и в Константинополь не пускал. Князь уже тогда поглядывал на Византийский двор, ожидая ответного дружелюбия.

Оставили варяги русские земли, уплыли за море. Но едва простыл их след, явились под стены Киева печенеги, порешив, что русы ослаблены. Князь и этим дал укорот, показав крепость своих рамён и несокрушимость обоюдоострого меча, с которого, как капустные вилки, летели печенежские головы.

9

Черета быстрых и необременительных побед опьянила Владимира, вскружив молодому господарю голову. Он настолько уверовал в крепость своих рамён, свою неукротимую буесть и свою удачу, что перестал держать совет с Добрыней, а на остережения верного дядьки стал просто отмахиваться. Вот какая гордыня обуяла юнака. А ведь где гордыня – там беда рыщет по следу, щеря волчьи клыки.

Было это осенью, в начале вересеня. Князю доложили, что в окрестностях Киева появился печенежский дозор. Владимир, пировавший в трапезной со своими полковниками да юными полонянками, пыхнул, как огонь. Молодецкие хоть да удаль, разгорячённые хмельными медами и фряжским вином, метнули его

в седло и вынесли за крепостные ворота. Следом вымахнули и верные соратники со своими стремёнными.

К князю подскакал дозорный гридь. «Эвон!» – он махнул нагайкой в закатную сторону. Солнце, рассечённое мечом долгого облака, окровавило окоём от края до края. На рудом мареве ясно различались чужие всадники. Уносясь за кромку крутояра, они то и дело оглядывались, а на мохнатых их малахаях мотались волчьи хвосты. Князева ловитва кинулась в догон. Достигнув кромки яра, дружина по знаку вожа раздвоилась и, не сбавляя гона, пошла обтекать сумрачную лощину, забирая чужаков в клещи. А сам князь со своим стремённым понеслись прямо.

Стременим у Владимира служил по-прежнему Ставр – брат покойной Любавы. Много раз, особенно по первости, князь порывался избавиться от него – вернуть дядьке, сослать на какую-нибудь дальнюю заставу, а то и возвернуть в Плесков. Но всякий раз останавливала память о Любаве.

Что мучило, что донимало князя и одновременно треножило его? Глаза Ставра. Они постоянно напоминали Любаву и были для Владимира немым укором, хотя в них не мерцало ни укоризны, ни отчуждения, ни тем паче неприязни. Сестрицу свою Ставр любил, в этом Владимир убедился в походе – и оберегал, и лелеял, и диковинками баловал молодшую. А стало быть, потеря любезной сестры, по мысли князя, должна была вызвать в Ставре гнев, родовую вражду, ненависть. Но Ставр оставался к Владимиру по-прежнему ровным, тороватым и исполнительным, ни словом, ни жестом, ни даже взглядом не выдавая своих потаённых, как мнилось князю, чувств. Однажды Владимир вскипел, разъярился, схватил Ставра за грудки, стал трясти его и в гневе обрушил на стремённого всю свою неизбывную боль. Чего он добивался, князь Владимир, поди, и сам не ведал. Клял, как винился, и попрекал, как прощения искал, вперившись в глаза Ставра, неотличимые от глаз Любавы. Ставр выдержал всё – и гнев князев, и горькие обидные слова, и взгляда не отвёл от горящих бешенных глаз, а когда Владимир почти сгас, тихо обронил, коснувшись своей груди: «На всё воля Божья!»

Лощину Владимир со стремённым пересекли раньше всех. Разгорячённый ловитвой, жаждущий боя и крови, князь яростно хлестал оря, норовя настичь врага и первым обрубить волчий хвост. А вымахнул на кромку яра, на миг ослепнув от встречного солнца, и обмер. Волчий дозор оказался на расстоянии полёта стрелы. Но дале, что грозовая туча, стояла тьма печенежской конницы. Лиц степняков было не различить, зато явственно до-

носился их удовлетворенный хохот: дескать, ловко мы провели урусов и славная сейчас пойдёт охота, и добыча знатная ждёт – и багряный плащ, и золотой шелом, а главное голова коназа. Несколько мгновений оставался Владимир один на один с тёмной ордой. Следом на крутояр вылетела с двух сторон его дружина. И хотя несравнима она была числом со степняками, но вои были проверенные и отважные. Они с ходу замкнули кольцо, оборонив своего господаря, и замерли, устремив очи поверх степняков и отворив сердца закатному солнцу.

А князь словно одеревенел. Похожее уже случалось с ним. Владимир ослабевал, когда был на пределе ожиданий и вдруг будто ударялся с размаху о невидимую стену. Но теперь было не просто замешательство, не просто смятение и оцепенение. Запепелев лицом, князь сделался точно истукан, что стоят на Подоле – таким он показался крещённому стремённому. Ждать было нечего. Ставр выхватил из рук князя поводья и под покровом живой, покуда не обрушенной стены повлёл его с крутояра вниз. Князь ничему не перечил, словно спеленатый младенца. Столь же покорно он дозволил снять с себя багряную милоть, свой золотой шелом, а потом пополз в схорон, который показал ему Ставр.

Ране здесь на кромке крутояра заготавливали глину, били из неё печи, крепостные увалы, скудельники вертели посуду, а с некоторых пор в оставленных выработках крещённый люд стал погребать своих опочибших собратьев. Лучше места, чем схоронить князя от смерти, по убеждению Ставра, в округе не было. Он выбрал самую неприметную пещеру, сам же остался наверху.

Князь Владимир, дозоривший родимую землю, теперь сам очутился под защитным покровом матери-земли. И впервые за долгие годы, сирота сиротою, остался в полном одиночестве. Его обстала тишина – непривычная, неслыханная тишина. Но она была такая ласковая, такая умиротворяющая, эта тишина, словно руки родимой матушки. Вот она-то и вызволила его из душевного плена. Под целительной лаской невидимых рук лопнули путы, что стискивали его сердце. Сердце князя, могучее и порывистое, вновь погнало по замрелым было жилам руду, и он мало-помалу очнулся.

В звенящей тишине донеслись отдалённые звуки – он различил звон мечей и сабель, яростные крики, засмертное ржанье. Постепенно сшибка сброи смолкла. Зато громче стали чужие голоса, а потом раздался топот многих коней, которые

понеслись с крутояра в лощину. В схороне запахло пылью, которой нанесло в лаз. Звуки сгасли, отдалились, но совсем не пропали, доносясь издали.

Сердце князя томилось горечью. Повинные мысли неслись к Добрыне: где ты, дядьку? где ты, родимец? А глаза ел стыд.

Сколько раз он, Владимир, клял свою размытую кровь, пенял на своё полужнатное происхождение, чем неволей попрекал и Добрыню, брата своей матери-простолюдинки. Дядька на это не обижался, а только усмехался, пряча улыбку в сивой бороде: зато гордыни нет, сыновец! Гордыня-то и пыхнула, гордыня-то и обернулась ныне бедой. Но ведь, оказывается, уроки дядьки не пропали даром.

Разве позволил бы гордоус «дати хребет», показать врагу спину, тем паче бежать с полябрани? А он бежал. Чистокровный князь бился бы до последнего, покуда бы его не искололи, не отсекли руки, не обрушили на колени, как стряслось с батюшкой. А он не пожелал доли отца – князя Святослава. Он не пожелал, чтобы у него живьём отрезали уши, нос, язык, выкололи глаза, а потом, уже сгасшему обстругали голову и превратили череп в пивальную чашу. Не пожелал и ускользнул от навьих когтей. Да вот даже и эта залёжка... Попади в такую переделку гордоус, разве он полез бы в экое мрелое нырище. А ведь он, князь Владимир, полез, не погнушался...

Глаза князя, обтерпевшиеся в подземном мороке, различили какое-то мерцание. Он смекнул, что пещера просторная. Прополз на коленях к тому месту, откуда исходило лучение. Протянул руку. В углубление стены оказалось погребение – под долонью среди пелен горбились человеческие останки. Прах был давний, пелены почти истлели, но от мощей – не странно ли! – исходили тонкий смолистый дух и слабое тепло.

Князь окончательно пришёл в себя. Рамёна его, было поникшие, вновь налились силой. Сердце билось тревожно, но ровно. И самое удивительное, ему вдруг открылось неведомое зрение.

Князь почти воочию узрел просторный дол, а на нём осиянного закатным солнцем всадника. Горел золотой шелом. Пласталась на ветру пурпурно-багряная милоть. Ставр! Это он, его стремённой, его верный товарищ, уводил степняков от княжеского схорона, а ещё, видать, чаял, что заметят княжескую багряницу с дозорной башни. Поле простиралось под крепостные стены. И достиг бы, верно, всадник градских ворот и поднял бы тревогу, да калёная стрела из наступающей степной орды обо-

рвала его полёт. Багряница опала, словно сломанные крылья, и её заслонила волчарья стая.

Князь заскрипел зубами, казнясь и кляня себя: как же он был безрассуден, как самонадеян, а в итоге сгубил и своих верных полковников, и своего преданного стремленного. Разве может ему после этого быть оправдание, и разве возможно искупить эту вину!

Меж тем под крутояром, где в схороне погребальном таился князь, вскоре вновь раздался конский топот. Смекнув, что полонили не князя, степняки вернулись назад и стали обыскивать округу. Они секли саблями лядины, шихали в печуры копьями, а в иные кидали горящие головни.

Владимир обнажил меч. Теперь он спину врагу не покажет. Да и некуда отсюда бежать – токмо вперёд, токмо на врага. А живым он не дастся!

Нет, погибать Владимир не хотел. Он был молод, только-только взошёл на киевский стол, и сердце его наполнилось великими замыслами. Меж тем гортанные голоса приближались.

Кляня себя за гордыню и опрометчивость, князь обращался к праотцам – Хорсу, Орю, Велесу... и давал зарок, что, коли останется жив, воздвигнет на Подоле новое невиданное доселе капище и златом зальёт вежды Перуну. Не отозвались праотцы.

По кромке пещеры уже заплясали сполохи. Князь обратился к родной земле, суля оборонить её от ворогов и поставить новые засеки, заслоны, остроги и порубежные городки. И этого оказалось мало.

Горящая головня сунулась в пещеру. Князь выставил меч, а другой рукой закрыл грудь. Долонь нащупала ладанку – ту самую, где хранился кипарисовый крест и пёрышко голубя. Князь истоиво зашептал бабенину молитву, а ещё представил её скобскую церковь и дал обет, что воздвигнет такую же. И случилось чудо. Головня пыхнула и сгасла. Крики ворогов отдалились. А вскоре в стане степняков началось смятение. То на выручку непутёвому сыновцу спешил с киевской ратью верный Добрыня. Сполох багряный, подъятый Ставром, не остался не замеченным.

Церковь Владимир воздвиг, не поскупился, краше на ту пору по всей Руси не было.

И кумиров киевских князь не обошёл – изукрасил златом да серебром. Вислые усы Перуна струились, что днепровские стремнины.

И заставы стал возводить Владимир на порубежье, и городки.

Но первым делом князь повелел схоронить павших. Полковников, кои полегли на закате, обратив очи Яриле, погребли в братской могиле, а над ними возвели курган, и первый шелом земли принёс туда князь Владимир. Воина Ставра, которого, смертельно раненного, степняки бросили близ Василевой засеки, схоронили по-христиански, положив в ту пещеру, где спасался князь.

После была тризна, ласковое поимённое поминание. А ещё покаяние Владимира перед всем миром, коленапреклонённое, громогласное, со слезами и скорбью великой.

А на седьмой день князь устроил пир в честь своего чудесного спасения. Семь дён гулял стольный Киев. Мёд-пиво лилось рекой, и по усам текло, и в рот попадало. Гуляли все от мала до велика, от воеводы до последнего калики. Гуляли так, что даже кумиры на Подоле заходили ходуном, как отмечал летописец, – Велес в дуду дудел, Мокош долгими пакшами рукоплескала, а Хорс пустился в присядку. То-то любо было! Вот тут на честном пиру и пошёл гусярный звон да зачин славутицы-былины. Вот тогда и выкатилось Красно Солнышко, как стали величать былинщичики-гусяры киевского князя. А одесную в тех былинах встал Добрыня Никитич, верный дядька и пестун Владимира свет Святославовича.

* * *

Владимир правил Русью, как заповедали отчичи и дедичи. Ходил в походы, усмиряя мечом и огнём степняков, ставил порубежные заслоны, а ещё выглядывал себе союзников, присматриваясь к ближней Европе и обращая свой взор на полудень – в сторону Византии.

На ту пору Византийской империей правили братья Василий и Константин, сыновья Константина Багрянородного. Держава переживала не лучшие времена. По крайкам Византии шла пря, то здесь, то там пыхали мятежи. Василия, старшего из братьев, который был коренником, один за другим предавали его собственные военачальники. Переманивая на свою сторону порубежных наймитов, самозванцы-императоры захватывали целые провинции. На полудени хозяйничали арабы, на восходе – легионы иверийцев и армян. На закате бесчинствовали болгары. На полуночи, в Крыму, восстал Херсонес. Василий, засевший в Константинополе, становился императором без им-

перии. Верных приближённых у него почти не осталось. Он лихорадочно искал союзников. Наконец перебрал всех, обернул свой взор в полуночную сторону. В своё время киевский князь Святослав помог Византии укротить болгар. Теперь василевс обратился к его сыну. Никто боле, кроме варваров, не мог помочь защитить Македонскую династию от крушения – только русы, мужественные, беззаветно храбрые и стойкие воины. Но дабы это был не короткий военный союз, а связь нерушимая, император Василий предложил князю Владимиру руку своей багрянородной сестры.

Владимиру было лестно это предложение. Руки порфиросной Анны добивался германский король Оттон I, мечтавший оженить своего наследника-тёзку. Французский король Гуго Капет просил византийскую невесту в жёны своему сыну Роберту. А болгарский царь Борис сам хотел обручиться с Анной. Однако небеса распорядились иначе. Предложение на брачный союз получил князь Владимир. Супружество с багрянородной Анной открывало русскому князю круг самых знатных европейских дворов, и он принял это предложение.

Византийские послы, коим было поручено оговорить условия брачного договора, прибыли в Киев в конце червеня, когда уже отцвели сады. Их галеры поднялись по Днепру до порогов. Возглавлял посольство митрополит севастиийский Феофилакт. Могучий, что дядьку Добрыня, он сразу пришёлся ко двору киевского князя. И когда переговоры были завершены, и они сам-друг взошли на помост вслед за князем, то показалось киевскому люду, что у Владимира выросли могучие крылья: одесную – воин Добрыня, а ошую – пастырь Феофилакт, ко-ему суждено было стать первым наместником древнерусской церкви.

Много обетов дал Владимир послам, скрепив пиргамин своей господаревой печатью. Дорого Киеву обойдётся багрянородная невеста, вздыхали бояре, загибая пальцы. Но князь не отступил, час за часом исполняя взятые обязательства.

Перво-наперво Владимир крестился. Давно приуготовленный к этому, он принял христианскую веру, крестившись в новой церкви в Василеве, которую только-только построил по обету. А имя крестильное он не выбирал. Оно давно лежало на сердце. И не потому токмо, что по-гречески Василий означало василевс, правитель, царь. В этом месте, где взошла и засияла новая церковь, отдал Богу душу воин Ставр, у которого было такое же крестильное имя.

Это было первым и определяющим условием византийского двора. Как только Владимир примет христианскую веру, так василевсы отдадут ему в жёны свою сестру, тотчас отправив её с челядью из Константинополя в Киев. Свидетельство крестильного обряда было послано, слово Владимир сдержал. Однако ответа – порфироносной невесты – Владимир не дождался.

Вторым условием была военная помощь. Тут князь тоже не замедлил. Всю осень и зиму на днепровских крутоярах строились лоды, насады и расшивы, а по весне Владимир отправил на помощь василевсам 6-тысячную дружину отборных витязей. Невеста не появилась.

По весне 988 года, на пятидесятницу, которая пала на 27 червеня, Владимир крестил бояр, гридей и весь киевский люд, а перед тем велел порушить поганьские капища, сбросив с днепровских круч и Перуна, и Хорса, и Мокош... О том и другом гонцы известили Константинополь. Анны не было.

Наконец весной следующего года Владимир выполнил последнее обязательство – взял приступом Херсонес, который переметнулся к врагам василевсов. Это было 7 цветеня – второго весеннего месяца, как отмечает летописец.

В полночь окрестности поверженного города озарились невиданным сиянием. Но не пожары, ещё не остывшие, были тому причиной – сияло небо. Владимир, разгорячённый схваткой, вскинул голову. На небосводе с полуночной стороны плясали сполохи. Видение, возникшее над Повенцом, повторилось. Снова распласталась от окоёма до окоёма багряно-золотистая грамота. И опять над чеканами двух созвездий вспыхнула сияющая жемчужина. Только на сей раз видение не мглилось и мерцало, а лучилось ясно и чётко. Посреди млечного марева угадывались соборы и блистающие купола – знаки христианского венца. Вот что было предначертано свыше и к чему князь приуговлялся ещё в Повенце. Понял Владимир и то, что там, в полуночной стороне небесная обитель и опустится – именно туда определил её Всевышний, выбрав остров в Студёном море. А ему, Владимиру, даётся знать, что битвы его были не напрасны, а труды и дни князя промыслительны и угодны Богу. Вот что со слезами на глазах шептал Владимир, обратив лицо сияющему зареву, сиречь огненным столпам, как отразил небесное видение летописец-очевидец.

В Константинополь отправилась весть, что Херсонес покорён, и все обязательства перед Византией Владимир выполнил. Где же долгожданная багрянородная невеста? Вдохнов-

лѣнный и обласканный видением, князь задавал вопрос твѣрдо и грозно. Ответом ему было молчание.

Владимир ведал о коварстве Константинопольского двора. Ведь в гибели отца – князя Светослава – были замешаны придворные василевсы, направившие на ослабленных битвами русов шакалов-печенегов. Но до конца в коварство всё же не верил и терпеливо ждал.

Тут вмешался Господь. Над полуденным окоёмом, над Византийскими землями появилась яркая комета. Три летние недели суровая Отцова бровь озаряла небо. Но даже и этот знак не подстегнул василевсов. Наконец в месяц листвоной, 25 числа, Константинополя достиг шѣпот Всевышнего. Обернувшись землетрясением, этот шѣпот обрушил свод императорской церкви. Только после этого, почувствовав наконец Божий гнев, послали василевсы багрянородную сестру, назначенную киевскому венцу.

Русь, по велению Свыше, сочеталась с Византией, войдя в лоно христианской церкви, а первым русским православным государем стал он – великий князь Киевской Руси равноапостольный Владимир.

«КАТТИ САРК», НЕСУЩАЯ ВЕТЕР

Повесть-ретро

Молва утверждает, что дураки умирают по пятницам. Насколько научен этот вывод, Сергей и Филин, конечно, не знали. Однако догадывались, что от истины он недалеко. Иначе зачем по этим дням они собирали застолье? Поминки, ясно дело, справляли.

В пятницу к концу трудового дня Сергей Пакратов спускался в филлярмонию. Филлярмонией, с его лёгкой руки, окрестили таксидермическую мастерскую. Филин в этой мастерской – он же Филипп Филимонов, он же Филя, он же Филимон... – был заведующим и самым главным региональным чучелотворцем.

Тонкий, не лишѣнный изящества нос Сергея по первости испытывал трепет. Заходя в таксидермическую мастерскую, он закрывал ладонями половину лица: «Такси не паркуются, таксы не водятся, а дерьмецом шибает!» Однако со временем смирился и даже находил в этих миазмах некое удовольствие. Это как с сѣмгой печорского посола. Вначале нос воротишь – такая

запашина стоит, а пообтерпишься, пообвыкнешь – за уши тебя не оттащишь.

На поминках дураков приятели, как правило, пробавлялись «шилом» – казённым спиртом, который Филину отпускался для профессиональных надобностей. Запивали водичкой, занюхивали корочкой, задавливали килечкой. Если кончалась закуска, Филя тянулся к пялкам, на которых сохли ободранные шкуры, и скovyривал с них остатки мездры.

– Зараза к заразе не пристанет, – бурчал он, отправляя в рот чёрный соскрёбыш, а другой подпихивал Сергею: – Ешь, ёшкарне.

Всякий раз Сергей располагался на лекале. Это была массивная деревянная колода с углублениями различной конфигурации. На ней Филя гнул проволочные каркасы. Задним, по-юношески сухопарым местом Сергей воспринимал то аэродинамическую линию крыла, то гибкую кривую позвоночника, то рельеф парнокопытной ноги. Сидеть на этом сооружении, разумеется, было неловко. Шкур на подстилку Филин не давал. Сергей подкладывал фанерки, остатки мешковины, пытаясь сгладить неровности. Тщетно. Комфорта в посадке не наступало. Однако с места сиделец не сходил. Почему? Да потому, что отсюда, с этой позиции, лучше всего открывались бабочки. Чучела были Филиной профессией, а бабочки – сердечной страстью. Бабочки мерцали в плоских плексигласовых планшетах, которые висели на противоположной стене. Эти пёстрые существа околдовывали Сергея, как, бывало, в детстве околдовывали разноцветные ёлочные шары.

– А ты слышал, Филин, о «Катти Сарк»? – осведомился однажды Сергей.

– Катя? – перетирая зубами мездру, переспросил Филя. – Из комиссии, что ли? – Филя сдавал туда кое-какие поделки.

– Дурила, – укоризненно протянул Сергей, откидывая со лба светлые пряди. – Это парусник такой. Легкий, как.., – он кивнул на бабочек. – Чайный клипер.

– Ты к чему это, ёшкарне? – Филин поднял круглые очки, сидевшие на хряще носа, отчего ещё больше стал похож на пернатого тёзку. Сергей пожал плечами.

Классе в шестом они с другом Гешкой записались в судомодельный кружок. В журнале «Юный техник» им попались чертежи стремительного парусника. Он назывался красиво и загадочно «Катти Сарк». «Давай строить», – загорелся Серёга. «Давай», – отозвался Гешка. Руководитель кружка дал добро, и друзья принялись за дело. Они старались изо всех сил. Выстрогали киль,

шпангоуты, бушприт, принялись набирать переборки, делали заготовки для надстроек... Работа горела у них в руках. Они пропадали во Дворце пионеров дни напролёт, забыв и про кино, и про каток. И всё пилили, полировали, клеили... К весне парусник был готов. Больше того, на выставке школьного творчества их модель заслужила первый приз. Радости друзей не было предела. Они просто упивались этой первой и такой яркой победой.

Но наступило лето, и однажды солнечным днем всё померкло. Дело в том, что на глаза Серёги попала одна толстая старинная книга. В ней оказались акварели парусников, в том числе изображение их победной красавицы. И тут он понял, что они с Гешкой построили не совсем «Катти Сарк», точнее – совсем, не «Катти Сарк». Нет, в модели всё было, как на чертежах, и почти всё, как на той самой акварели – рангоут, такелаж, мачты, надстройки... Не оказалось только главного – самой Катти Сарк, обнажённой девы на носу парусника. Ведь именно по ней тот клипер и назвали «Катти Сарк», что означает «короткая рубашка».

К чему это всё вспомнилось, Сергей так и не объяснил.

Филин определил сам:

– Бабочки, ёшкарне, растревожили?!

Потом поправил вновь съехавшие очки и плеснул в стакашки:

– За охоту!

Сергей кивнул, взявшись за стакан.

– И охотку! – добавил Филя, тем самым решительно отмежёвываясь от дураков.

I

Областное охотуправление располагалось в двухэтажном особняке, где в начале двадцатого века заседала городская дума. В здании, помимо «Охотного ряда», как остряки окрестили это учреждение, гнездились ветеринарная служба, эпизоотический отряд, орнитологическая база и ещё множество самых разных служб и ведомств, кои Филя классифицировал как семь пар чистых и семь нечистых. Напиханные сюда по воле властей, а того более – прихоти обстоятельств, эти отделы и хозяйства были перетасованы, как карты в колоде. Особенно разрозненно выглядели «охотнорядцы». Кабинет Степана Лукича, начальника управления, находился в одном конце здания, три кабинета с его подчиненными, – в другом, а склад и таксидермическая мастерская и вовсе на нижнем этаже.

Стоял декабрь. Годовой финансовый отчет был уже сдан. Часть сотрудников управления укатила в отпуск, благо можно было использовать его по частям. Ну, а все оставшиеся слегка маялись от законного безделья, однако виду не подавали, создавая, с негласного одобрения шефа, подобие какой-никакой трудовой деятельности.

Кабинеты охотоведов и бухгалтерия прежде, очевидно, представляли большой зал. На потолках сохранилась лепнина в виде концентрических кругов, где в думские времена, должно быть, висела люстра. Площадь зала была разделена непропорционально. Прихожая и задний кабинет оказались узкими, а среднее помещение – просторным и почти квадратным.

Стол Пакратова стоял в дальнем кабинете. Однако в эти дни Сергей, как и все сотрудники, оставшиеся на боевом посту, чаще обитал в центре. Несмотря на пространство, здесь было уютней. Может быть, настроение создавали чучела, которые дожидались здесь филиной реставрации.

Главной незыблемой достопримечательностью этого кабинета служило сооружение в центре. Оно состояло из необъятного дивана и примыкающего к его высоченной спинке равновеликого по габаритам шкафа. Филя однажды назвал этот тандем мавзолеем, но широкого распространения сие название по известным причинам не получило.

Шкаф был глубокоуважаемым – в нём помещалась вся отчётность охотуправления. А диван и вовсе не поддавался классификации. Чучела перед ним выглядели, как пигмеи перед великаном – даже лось, коронованный рогами. Царём здешней фауны был, безусловно, диван – существо из породы мамонтов или динозавров. Тем более что на его выдубленной коже просиживали штаны присной памяти городские кадеты и октябристы. А ещё о сановитости и знатности свидетельствовала цена, которая была за него уплачена. Директор краеведческого музея, который тоже, как и охотуправление, занимал часть помещений бывшего думского особняка, долго кочевряжился, прежде чем уступить музейный экспонат. Однако в конце концов сдался. На сделку его вынудила новая экономическая ситуация. В обмен на кожаного мастодонта начальник управления передал музею чучело песца, а Филя отреставрировал им чучела полярного медведя, полярного волка и белухи.

Те дни в декабре катились неспешно. Утренний чай, который заваривала Таисия Тимофеевна, бухгалтерша, плавно перетекал в полдник, тот в свою очередь неторопливо струился

к послеобеденному чаепитию, а оно незаметно выливалось в завершающую стадию файф-о-клока.

По утрам, прихлёбывая остатки первого чая, Пакратов садился за свой стол и кропал заметули. Это были охотничьи были, советы знатоков и прочие, как выражался Филя, пиндюрочки, которые Сергей отдавал на областное радио. Вспомнив среди сложноподчиненного предложения Филю, он иногда спускался вниз. В филлярмонии можно было поболтать, посмотреть, как таксидермист мастерит очередное чучело, а главное, конечно, – полюбоваться бабочками. Выходцы из царства лета, они лучше всего утешали глаз среди бесконечно-белой зимы. А иногда Филин, устав от своих шкурных дел, поднимался наверх, и тогда приятели затевали очередную шахматную партию. В филлярмонию шахматы таксидермист не допускал. Человек эмоциональный, Филя остерегался в порыве гнева или азарта что-нибудь покрушить. За чучела он не опасался – «Мешки с опилками всё стерпят», – но бабочки!..

* * *

В то утро оставшиеся на боевом посту члены коллектива, как всегда, не спеша почаёвничали. Таисия Тимофеевна разложила вязание, а ещё раскинула на столе свою китайскую цигейковую шубу, собираясь заняться какой-то починкой. Главный охотовед Калинин, расправив чапаевские усы и водрузив на нос железные очки, принялся штудировать «Правду». Завахоз Маруся Пителина второй день подписывала новогодние открытки. Все они сидели за столами возле окон. А Сергей с Филей, устроившись на диване, принялись разыгрывать шахматный дебют.

Странное, конечно, стояло время. В магазинах шаром покати (хмели-сунели, сковородки да веники), а в разных конторах по-прежнему яблоку было некуда упасть. Дилеммка сия элементарно укладывалась в закон Архимеда, гениально уточнённый Михаилом Ломоносовым. Но никто одно с другим почему-то не связывал. Все находились в ожидании каких-то чудесных перемен, о коих трубили тогдашние газеты, а чаемые перемены всё никак не наступали.

– Ну, когда они чего-нибудь там родят? – слушая радио, тыкала иголкой вверх Таисия Тимофеевна. Она в очередной раз пришивала пуговицы, оторванные в очередной продуктовой очереди.

– Восемь лет уже при коммунизме, – кивнула завхоз Маруся, не отрываясь от эпистолярного урока.

Главный охотовед Калинин, один из многомиллионной армии, которая составляла честь и совесть эпохи, неодобрительно насупился.

– Партейная линия правильная, – клюнул он щепотью. – Время для всего нужно.

От последнего слова происходила его кличка – Нужник. Однако в минуты благодушия его за глаза звали то Хорём, то Калинычем.

Маруся Пителина подняла свои круглые глаза, как бы о чем-то подумала, а потом снова их опустила. Её необъятная грудь занимала две трети столешницы. Чтобы написать очередное поздравительное слово, ей приходилось выглядывать то из-за левой груди, то из-за правой.

– Дак родят ужо, – миролюбиво согласилась она.

– Родят, ёшкарне?! – флегматично обронил Филя, не отрываясь от шахматной доски. – Скорее я чего-нибудь рожу.

– Аха, – подхватил Сергей. – Страуса эму. А то чучалку инопланетянки... Шах!..

– Ишь ты, Приштвин, ёшкарне! А мы вот так, – Филя переставил коня. – Это тебе не заметули, Биянка ты с киянкой, в эфире клепать!

– Твой парнокопытный колченог, как и твои чучалки, – Сергей взял коня слоном.

Филя отгрыз последний ноготь.

– Слона-то я и не заметил, – протянул он и в запале кинул в бой королеву. – А мы из слона сделаем муху! Так-то, мистер Тур гевен анд Тур Хейер дал!

– Ха! – победительно рыкнул Сергей, сжав тонкую шею королевы. – Ты перед сном молился, Филимонов?! – С ходу поменял мотив: – Бабочка крылышками бяк-бяк-бяк, – и опустил на освободившееся поле другого своего коня.

– Ёшкарне!!! – взревел Филин. Такого поворота он не ожидал и пережить не мог. Особенно в сравнении с бабочкой. Смахнув с доски остатки фигур, он кинулся с поля битвы. И прежде чем пешки и короли завершили свои кульбиты, за Филей хлопнула входная дверь.

Никто из присутствовавших на шахматный взрыв не повёл бровью. Филя, бывало, чучела ронял, детища своих золотых рук. А тут-то...

Подобрав руины партии, Пакратов закрыл шахматную коробку и ушёл к себе. На письменном столе дожидались подготовки очередной байки. На сей раз это была история о том, как юные пионеры пригрели раненого гусёнка. Её заказала детская редакция радио. И вот тут-то всё и началось...

Внезапный вихрь пронёсся по «охотному ряду». Казённые бумаги, листовки «Берегите лес от пожаров!», а также собственные записки Сергея разом взвились, словно на помещение обрушилась пурга. Пакратов вскочил, пытаясь унять это взбеленившееся пространство. Где-то что-то хлопнуло, упало, зазвенело. И тут в сумятице белого хаоса Сергей увидел ЕЁ. Впереди в дверном проёме стоял начальник, а позади в светлой шубке она.

После-то Сергей понял, что произошло: шеф прошествовал из своего конца коридора, оставив за собой нараспашку все двери и форточки; точно так же он не запер за собой дверей и в их конце и, когда отворил двери последнего кабинета, – а у Пакратова там была открыта не только форточка, но и одна рама, – тут-то и возникло то, что в баллистике называется директрисой. Турбулентно закрученный сквозняк не просто взвихрил, он, казалось, воспламенил окружающее пространство, раскалив всё добела.

Объяснение происшедшему было простое. Оно пришло потом. А тогда в порыве это выглядело удивительно и необыкновенно: всё белым-бело, всё кружится, летает, порхает, несётся и – её глаза, сверкающие из-под белой вязаной шапочки. Они, эти глаза, так и застыли в его памяти, точно фото при магниевой вспышке.

В первый миг у Сергея мелькнула мысль: уж не Дед ли Мороз со Снегурочкой пришли поздравить передовиков производства – скромных тружеников лесной нивы? Такое ведь устраивалось в те годы. Однако тут же понял, что это чушь. Не потому, разумеется, что слишком уж мало «охоторядцы» ходили на ударников пятилетки, досрочно завершивших производственный план. Дед Мороз был не тот. Снегурочка – да. Снегурочка в дублёночке с белою опушкой была что надо! А Дед Мороз не годился даже для поминок. Ну какой из Лукича, тощего да поджарого, был Дед Мороз. В лучшем случае – вешалка для его шубы.

– Девушка из газеты, Сергей Фёдорович. Из молодёжной, – отрекомендовал он гостью. – У неё несколько вопросов... Займись.

Приказ начальника – закон для подчинённого, тем более такой. Совсем, видать, главный охотник области потерял нюх.

Сергею даже жалко его на секунду стало. Но только на секунду. Не исключалось, что в тот час шеф ожидал в своей засидке более крупную птицу, нежели представитель молодёжного печатного органа.

Лукич ушёл, поспешно захлопнув за собой двери. Обвал бумаг стал гаснуть. Шагнув навстречу гостю, на ходу прихлопывая листы, Сергей показал на вешалку, готовый подхватить её дублёночку. Увы, она жестом отказалась, только расстегнула деревянные вытянутой формы пуговицы. Шубка была расписана гуцульскими узорами. Он пощупал профессионально глазами, а потом и щепотью.

– Что за птица? То бишь зверь?

– Ламка.

– М-м!.. Прямо из... – Сергей мотнул головой.

– Из... – улыбнулась она. Черты крупные, южные, брови в разлёт, нос горбинкой, но до чего всё живое и трепетное, словно это не сквозняк, а вот она подняла вихорь, что ворвался в казённую келью.

Не успели они сесть за стол, он – с одной стороны, она – с другой, появился Филя. Подкатил как ни в чём не бывало к столу и устался на гостью. Пришлось представлять.

– Эдуардо де Филиппо, – бросил Сергей.

– Эдик? – уточнила она. – Эдуард?

– Филиппок, – ответил Сергей, с ходу кивнул Филе. – «Отец, слышишь, рубит», – и уточнил: – Тебя шеф искал.

Филин упёрся, встопорщился, точно однородное пернатое, пришлось его выпроваживать. В дверях уже обменялись репликами.

– В моём алькове такой бабочки нет. Уступи, ёшкарне, – просипел он.

– Отзынь, дермист! – грубовато отрезал Пакратов и захлопнул за ним дверь.

Когда Сергей возвратился за стол, гостя сидела без шапочки. Каштановые волосы её, видимо, длинные, были забраны на затылке. Так лицо выглядело строже и отстранённое. Впрочем, может быть, дело было не в этом. Она стала задавать вопросы – а речь шла о профессиональных вещах, – потому, видать, и облик немного изменился.

О чем они говорили? Господи! Об этом ли надо беседовать с хорошенькой женщиной! За таким ли столом сидеть! Но что поделаешь, если ты находишься на службе, и она тоже явилась по служебной надобе?! Они говорили о зимовке лосей, о сенаж-

ной подкорме, о соли-лизунце и т. д. и т. п. Сергей сидел так, чтобы она лицезрела его правый полупрофиль – так он выглядел эффектнее. Она однако мало смотрела на него, чиркая в своём блокнотике. Надо было что-то предпринимать. Блуждающий взгляд Пакратова выловил из вороха бумаг на столе какой-то график. Тут его и осенило. Он извлёк график из-под спуда, следом нащупал какую-то таблицу. Запустил руку в другую кучу, отловив там диаграмму. Сейчас он чувствовал себя игроком, которому выпадали крупные козыри. Сводки, графики и таблицы понадобились для более тесного контакта. Не станешь же тыкать пальцем через стол, чтобы проследить кривую показателей или обратить внимание на итоговую цифру. Это в конце концов невежливо. Воспитанный человек прежде выйдет из-за стола и только тогда покажет необходимые сведения, тактично склонившись к собеседнику.

Сергей не зря выставлял свои козыри. От гостьи пахло морозной свежестью, которая ещё не успела истаять в тепле, тонкими, едва уловимыми духами, а когда он склонился совсем близко – телесным ароматом. Он исходил от гладких волос, слегка открывающейся шеи и от совсем уж неведомых потаённых глубин.

Выставляя свои козырные графики, Сергей скорее всего нёс при этом какую-то околесицу. Как можно здраво рассуждать, когда голова твоя идёт кругом! Почувствовала ли она его состояние, трудно сказать. Но тут в притворе опять возник длинный нос Фили.

– Послушайте, Ламка, – Сергей коснулся её плеча. – Сегодня здесь суетно. Ходят всякие подозрительные личности. – Это он бросил в лоб Филе, который тотчас же захлопнул дверь. – Давайте встретимся с вами в субботу. Здесь же...

Она стала подниматься, мягко освобождаясь из его объятий.

– А вы... разве работаете? – в голосе её чувствовалась утаённая замедленность.

– Приду, – выдохнул он. – Специально ради...

Сергей шёл напрямую, как секач, завидевший цель. Секач вспомнился к слову – они как раз оказались возле чучела кабана. Она на ходу коснулась клыков.

– Не смогу, – при этом покачала головой и взвесила на ладошке блокнотик. – Для интервьюшки хватит. А подробнее – в другой раз.

Всё произошло настолько стремительно – только что сидела и вдруг – фьють! – точно и не было, – что до Пакратова не сразу и дошло. Ещё, казалось, мерцал в проёме дверей пучок туго скрученных на затылке волос, словно тайфунчик на меркнувшем экране телевизора. Ещё витал летучий манящий запах. А уже, оказывается, и след простыл. Ну и ну! Или он что-то сморозил? Что-то лишнее сказал? Что-то не так сделал?

Потирая ладонью лоб, Сергей потоптался возле дуrolомно застывшего кабана и вернулся за свой стол, вместо того чтобы кинуться следом...

И тут снова припёрся Филин. Ох, и злость охватила Пакратова. «Ну, что ты шляешься, дермист хренов, когда тебя не зовут!» Однако того, что вертелось на языке, он не выплеснул. Больше того, даже виду не подал.

– Филя, – так это доброжелательно осведомился Сергей, – у тебе нет родни на Кавказе?

Филин выпятил нижнюю губу, демонстрируя недоумение, отчего похож стал на сыча.

– У тебя грузинское имя, – пояснил Сергей.

– Это почему? – не чуя подвоха, выставился Филя.

– Грузин попал в коровью лепёшку, влип и кричит благим матом: «Я фи-лип, я фи-лип!» Так и появилось это гордое имя.

Филин вспыхнул, швырнул в Пакратова подвернувшейся под руку толстенной папкой – Сергей едва успел увернуться, прорычал свое нечленораздельное «ёшкарне». А славное имя Тур Хейердал в его устах обернулось тем, что в лингвистической среде называется ненормативной лексикой.

* * *

Она позвонила через четыре дня. Повод был деловой: уточнить имена, географические названия, кое-какие цифры. Один фрагмент зачитала. Голос был будничным, а в их случае, считай, официальный, но – ни повод, ни провод, который, соединяя, разъединял их, – ничто не могло сокрыть его свойства. Грудной, глубинный и одновременно лёгкий, стремительный, не голос – брызги шампанского. То-то у Пакратова опять голова пошла кругом.

– Так? – дочитав фразу, спросила она.

– Всё так, Ламка...

Сергей вложил в эту фразу всю свою нежность и всю свою грусть. Однако через минуту, когда она положила трубку, извес-

тив, что интервьюшка пойдёт в послезавтрашнем номере и при этом никак не отозвалась на его интонацию, грусть перетекла в досаду. Грусть – это когда что-то позади, а тут...

С годами, так Пакратову казалось, он научился определять женщин: вот с этой – запросто, а эта – ни при каких обстоятельствах. Здесь же была сплошная невнятица. Вроде и манит – зачем тогда эти улыбки, эти влажные глаза, этот горловой трепет – и в то же время ускользает. Ему и в голову тогда не приходило, что это её естество, что такова у неё природа.

Несколько раз он порывался позвонить, поговорить, возможно, как-то форсировать события. Однако верхнее чутьё подсказывало, что этого делать не следует. Пакратов рассуждал как охотник-промысловик. Потому что так себя чувствовал. Опыт промысловика, правда, был у него невелик. Однако в засидках и схоронах сживал, терпения доставало. Иной раз часами приходилось выжидать, приманивая добычу чучалками или посвистами. Это он обронил, сидя за шахматной партией. Естественно, не упоминая предмет размышлений. Филя, однако, догадался. Вспорхнув на валик дивана, он зареготал:

– Я – косач. Повсюду чучалки, а внизу Купидон с калёной стрелой. Фр-р!

Что было делать с этим прохвостом? Пришлось сшибать его матом. Естественно, шахматным.

* * *

Следующий день в «Охотном ряду» начался как обычно. Привычную атмосферу нарушило только опоздание Маруси Пителиной. Кладовщица примчалась, когда Сергей с Филей уже разыгрывали дебют.

– А вот и моя королева, – берясь за пешку, сказал Филя.

Пакратов поднял голову. Маруся была растеряннo-возбуждённая.

– Проспала, должно быть, – заключил Сергей.

Филя вскинул очки.

– Ага, – согласился он. – Петушка, видать, придавила, вот он и не прокукарекал.

Сергей хмыкнул, не придав Филиному уточнению значения, а оказалось зря.

Непривычно живо скинув своё крупногабаритное малиново-го цвета пальто, Маруся подкатилась к столу Таисии Тимофеевны. Они о чём-то с нею зашушукались. Точнее так – Маруся

шептала, а Таисия Тимофеевна переживала. Она всплескивала руками, ойкала, оглядывалась по сторонам, не то остерегаясь, не то ища поддержки. Всё это вызвало законное беспокойство Калиныча. Главный охотовед профессионально наострил уши, что-то, видать, уловил и деловито подсел ближе – дескать, кончай, девка, втихомолку бухтеть, валяй выкладывай. Тут с дивана поднялся Филя:

– От масс секретов быть не должно. Всегда делиться с общественностью нужно!

– Во-во, – не усмотрев издёвки, кивнул Нужник.

Что Марусе оставалось делать? Хлопнув себя по ядрёным коленям, слегка краснея и пыхтя, она принялась рассказывать.

Нынче ночью бабе приснился сон. Будто кто-то голубит её. То за руку берёт, то плечи оглаживает, а больше всё грудь норовит. И хотя тихо так, не охально, а растревожило.

– Мужик? – насторожился Калиныч.

– Какой мужик! – простодушно отмахнулась Маруся. – Я давно с-под них ничего не имею.

– Ну-ну, – кивнул главный охотовед, не то подтверждая моральную устойчивость Маруси, не то сомневаясь. – А дальше-то чего?

А дальше было так. Маруся проснулась. На дворе потёмки. На лбу испарина. «Эк чего приснилось, – подумала она. – Сердце, должно, намяла». И только собралась повернуться на другой бок, как почуяла – и не во сне уже – наяву, – что кто-то гладит её.

– По груди, – уточнила Маруся. – По левой.

Уточнение было существенное, учитывая Марусины габариты.

– Этого материала на четырёх баб хватит, – профессионально оценил таксидермист.

Маруся на его реплику даже ухом не повела, настолько была во власти пережитого.

– Баба, знаете, я не трусливая, – сказала Маруся, и все закивали. По складским подвалам, где и мышей, и крыс полно, завскладом шастала без всякого сопровождения. А тут...

Вскочив с кровати, напуганная женщина метнулась к выключателю. При свете огляделась – вокруг никого. Тут бы ей поостыть, успокоиться. Ан нет. По груди опять будто кто водит. Маруся задрожала, принялась срывать с себя все ночные одёжки – все ситцы, байки и штапели – и до того разоблачилась, что осталась в одном лифчике.

– В лифчике? – округлил глаза Калиныч, уши его пылали кумачом. – Ну, ты, Марея, даёшь! Ить даже кобылу рассупонивают, когда в стойло ставят...

Маруся на реплику Нужника не повела ухом, поскольку подступила к главному. А главное заключалось в том, что она скинула лифчик, который не снимала всю последнюю неделю. И... Из левой чаши Марусиной упряжи на стол сначала вытекла яичная скорлупа, а уж за нею шлепнулся мокрый тощий цыпленок. Раскрыв жёлтый клювик, он сказал: «Пи».

С полминуты в казённом заведении стояла абсолютная тишина. Слышно было, как с носа Калиныча сорвалась небольшая – величиной с третий номер дробы – капля. А потом раздался такой хохот, что у чучела волка напрочь отвалился хвост.

Хохотали все. Кроме Маруси. Маруся, как бы продолжая рассказ, вслух пыталась понять, как же закатилось за пазуху то треклятое яйцо, деловито перечисляя все возможные рыночные и кухонные ситуации. Но её тон и озабоченность ещё больше распалили атмосферу. Филин свалился со стула и, дрыгая ногами, приговаривал:

– Пи... Сплошной пи...

Сергей в отличие от него предусмотрительно сместился к центру и катался по дивану. Таисия Тимофеевна квохтала, держась за живот – она опасалась за прочность свежих аппендицитных швов. Но больше всего, пожалуй, заходилась Нужник – непроницаемый Хорь анд Калиныч. Потеряв всегдашнюю бдительность, он не пресёк ни одной аполитичной реплики, которые по очереди выдавали то Сергей, то Филин. А уж те такой возможности не упустили.

– Поддержим инициативу М. И. Пителиной по увеличению поголовья птицы!

– Трудовой почин завскладом Пителиной в свете последних исторических решений!..

– Достижение Марии Пителиной в корне опровергает буржуазную догму, что курица – не птица, а баба – не человек!

– Даёшь встречный план по производству товарно-яичной продукции от каждого трудового коллектива!

– Почину Марии Пителиной – крепкую идеологическую поддержку!

– Увеличим птенценоскость на душу и тело населения!

Нужник во всё горло хохотал над Марусей, а Сергей с Филей – всё больше над ним, до того у него был расслабленный и потешный вид.

Отсмеявшись, отбалагурив, все, наконец, разошлись по своим местам. Однако раж дурашливости не угас. Долго ещё то в одном, то в другом углу конторы раздавались всплески смеха, остаточный гогот или хотя бы придушенное хмыканье.

Лирическое настроение подвинуло Пакратова к действиям. Он решил позвонить Ламке. Разве можно было упускать такой случай. И благодушное состояние, и занимательный сюжет, коим щедро оделила коллектив Маруся Пителина, – всё располагало к непринужденному, доверительному разговору. В такой атмосфере могли возникнуть самые благоприятные повороты и прежде всего, конечно, договорённость о встрече. Сергей стал накручивать диск, делая это почти автоматически, до того усвоил её номер. И внезапно осёкся. «Что я делаю? Можно ли о таком говорить? Те ли у нас отношения, чтобы рассказывать такое? Это же всё равно как на первое свидание вместо букетика принести в подарок бельё».

Ища подтверждение своей опаске, Сергей мысленно стал обращаться к самой Ламке, а для этого попытался представить её образ. «Вот здесь, напротив, она сидела. Мы с нею говорили. Я видел её лицо, её глаза, её губы. Мы говорили о сенаже, о соли-лизунце, о...». Тут Сергей похолодел. Вот! Не в этой ли ерунде и растворилось всё то, что так жадно он хотел сейчас воспроизвести?! Образ ускользал. Сергей никак не мог уловить его. И тут его обожгла догадка. «А может, её и не было вовсе. Может, я всё это выдумал, вообразил – и её, и её губы. А на самом деле её не существовало и не существует...».

Пакратов вскочил, распахнул настежь окно, хватил стылого воздуха, бросился за дверь. И эту, и все прочие двери Сергей оставлял нараспашку. Анфилада кабинетов кончилась. Он пересёк просторный коридор, толкнул дверь в чертоги шефа. Приёмная и его кабинет, к счастью, оказались пусты, иначе вид подчинённого мог бы если не изумить, то озадачить Лукича. Сергей распахнул все двери, все форточки и почти бегом кинулся назад. И что? Что он обнаружил, когда ворвался в свой кабинет? Ровным счетом ничего! Ни одна бумажка не ворохнулась, ни один листок не упал с полки, ни одна пылинка не взвилась со стола. Дышать было нечем. Он бессильно опустился на стул.

* * *

Утром, ещё в потёмках, Пакратов кинулся к газетному киоску.
– Мне молодёжку...

Сердце колотилось. А ну как и впрямь ничего не было – ни Ламки, ни той встречи, ни телефонного разговора. А были лишь сон, наваждение, галлюцинация. Такое ведь случается: человек жаждет воды, и ему грезится колодец. Может, и ему увиделся мираж. Навообразил себе, поддавшись давнему ожиданию, которое даже от самого себя скрывал, вот и возникло...

Интервью со старшим охотоведом С. Ф. Пакратовым помещалось на четвёртой странице. Оно стояло под рубрикой «Благослови детей и животных» и называлось «Не охота, а охрана». Сергея аж в жар бросило. Нет, он ничего не выдумал. Ламка есть, она существует! Иначе откуда бы в этой газете появилось его собственное имя!

Засунув газету за пазуху Пакратов вприпрыжку помчался в контору. Читать надо было в одиночку и при закрытых дверях – так он решил. Однако оказалось настолько рано, что затворяться и не понадобилось, поскольку, кроме Сергея да вахтёра, в особняке никого не было.

Сергей перечитал интервью раз, потом ещё раз, и ещё... Выглядел он там на «пять» с плюсом. Этаким главный защитник всех обездоленных птичек и зверюшек. «Неужели таким я ей показался? Или она таким меня себе представила?». Эти мысли не давали ему покоя. Они будоражили, вскидывали с места, бросали к окну. Он распахнул форточку, потом всю раму и жадно дышал, втягивая носом студёный воздух.

Время подошло к десяти. Пожалуй, пора – решил Сергей – и набрал номер. С чего начать – не думалось. У него есть вопросы, и это – главное. Увы. Вопросы остались без ответа.

– Это вы, Евгений Юрьевич? – отозвался незнакомый женский голос.

– Нет, – замешкался Сергей. – Это... читатель.

– Ой, извините, – раздалось в ответ. – Я думала, муж... – и уже отстранённое донеслось: – Её не будет... Теперь только после праздников.

«После праздников, – повторял Пакратов, – после праздников». Внутри что-то оборвалось. Так было, когда давно-давно сорвался с ёлки самый яркий шар. Сергей чувствовал, что после праздников – это уже сегодня.

* * *

Наступило 30 декабря – последний рабочий день. Это была пятница – день, когда умирают дураки. С утра Сергей пошёл вниз. Сегодня в пору было поминать его.

Хандра накатывала с прибойной силой.

– Клин клином, – повторял Филя, подливая в стакашки. Увы, клин, видать, выходил боком – он то терзал сердце, то будоражил глаза. Сергей смотрел на бабочек, переводя взгляд с планшета на планшет, но различал только пятна.

После обеда все потекли по домам. Пакратова ноги занесли в кафешку. Сел к стойке, заказал водки. Зал был пуст. Одинокий ударник совершал какую-то таинственную мессу. Официантка несла стопку стаканов, держа их на плече, как городошную битую. Мимо прошествовал холёный ресторанный кот, пробормотав на макушке напоминая полового. Глаза Сергея, отстав от котяры, наткнулись на чёрную щель. Взгляд заскользил по чёткой колее, и в Сергее стало утверждаться что-то твёрдое и решительное. Именно так он почувствовал себя. Эту твердость надо было обязательно продемонстрировать бармену. Он медленно поднял голову. Вот! Однако стоило взвести глаза на уровень блюда, что мерцало на нижней полке, решительность и твёрдость куда-то пропали, точно затерялись в размытом рисунке и овальной форме. Сергей снова опустил голову. Оказалось, что щель со своего места улизнула. Он пошарил глазами и всё-таки отыскал её. Твёрдость и решительность вернулись, хотя баланс составляющих немного поколебался.

Дело в стуле, заключил он. Этот длинноногий стул, намертво присобаченный к полу, слегка покачивался. Однако Сергей, несмотря ни на что, держался и достоинства, которое сейчас целиком отождествлялось с телом, пока не ронял. Это открытие ободрило его и дало повод снова поднять стакашек. Большой глоток потребовал большей остойчивости. В поисках опоры он опустил одну ногу на пол. Под стопой явственно почувствовалась щель. Обретя твёрдость, Сергей слегка расслабился и, сам того не заметив, кажется, отключился. Это продолжалось самую малость. Через мгновение он очнулся. Вокруг как будто бы ничего не изменилось. Под стопой бугрилась прямая линия. Только теперь она была не чёрная, а блестящая. Сергей поднял глаза. Блюдо мерцало алым, – должно быть, бармен включил подсветку. Неподалеку раздался звон. Разбила-таки, догадался он, вспомнив официантку со стеклянной битой. А следом почувствовал резкий тычок.

– Дурак! Оглох, что ли! Трамвай же прёт!

Крик этот, смешанный с грохотом железной туши, он услышал уже в полёте. Спину обдало плотным воздухом. Он ткнулся в сугроб и судорожно поджал ноги. Сквозь снежную труху, ко-

торая таяла на глазах, двоились рельсы. Они мерцали тускло, как лезвия засаленных ножей. Трамвай, точно понурый мясник, удалялся прочь, равнодушно и пьяно виляя задом.

Маленько очухавшись, Сергей поднялся на колени. Соображая, кто его остерёг, огляделся. Вокруг не было ни души. Стоя на коленях, он поднял глаза. Из чёрной бездны на лицо падали редкие снежинки. Они тихо таяли на губах и были почему-то солёные.

Сергей снова осмотрелся. Неподалеку в три глаза мигал светофор. Огоньки напоминали ёлочные шары. Он плохо соображал, но одно всё же вспомнил: впереди Новый год. А уже следом явилась мысль о подарках.

В «Детском мире», куда его притащили ноги, было многолюдно. Он слепо оглядел полки. На глаза попала коробка с изображением парусника. Что там – долго не разбирался. Толпа сметала всё – зевать было некогда.

Выйдя из «Детского мира», Сергей сделал крюк и наведалься в промтоварный. Там взял первое, что попало на глаза, – косметичку. А на углу, уже неподалеку от дома, купил у какого-то мужика ёлочку.

Дома, по счастью, никого не было. Пришёл, хватил ещё зачем-то полстакана водки и, кое-как раздевшись, завалился спать – утро вечера не мудренее, зато отдалённое.

* * *

Разбудил его голос. Ещё не проснувшись, Сергей почувствовал, что лежит скрючившись в три погибели, а коленки поджаты к самому подбородку. Так младенцы, как складные ножи, лежат до срока в утробе матери. Окликнул Алёшка. Он тормозил сначала осторожно, деликатно, а потом всё решительнее и настойчивее, пока Сергей не открыл глаза.

– Па, утро. Ёлку надо ставить. Дед Мороз скоро придёт... Со Снегурочкой...

Хотелось спать, никого не видеть, ни Деда Мороза, ни Снегурочки, а всё спать, спать и спать... Но различив сквозь похмельную муть Алёшкины глаза, Сергей устыдился: он-то в чём виноват?!

– Сейчас, сынок. – Сергей потрепал мальчика по светлой голове, нажал кнопочку носика. – Би-би... В садик сегодня не надо? – И наконец поднялся. – Мама спит?

Алёшка кивнул. Вопрос был риторический – Сергей и без того знал, что жена спит. Пребывание во сне было едва ли не

основным её состоянием. Раньше, в первый год совместной жизни, он этого не замечал, либо у неё это не столь явно проявлялось. А после рождения Алёшки она спала, кажется, с открытыми глазами. «У нас, у баб, это бывает, – объясняла Маруся Пителина. – Одни от родов с ума сходят, в горячку впадают, а другие – наоборот...»

Пакратов женился не впопыхах, не как солдат-дембель, который, вернувшись со службы, нюхнул дешёвеньких духов и через неделю в загс побежал. Было время и подумать, и взвесить, и советы получить. Один довод выложила Таисия Тимофеевна: «Девушка работает в клубе – значит, тонкая натура». Другой аргумент изрёк Калиныч: «Широкие бёдра, – стало быть, легко рожать будет». Что касается «тонкой натуры» – лучше помолчать. Но насчёт родов – чёрта с два. Рожала – едва Богу душу не отдала. Маялась так, что дошло до кесарева сечения. Вот тебе и бёдра...

А после? Едва плод извлекли, едва отвозились с матерью и ребёнком, – новая напасть: стало пропадать молоко. Ребёнок есть хочет, к груди тянется, хватает ротиком сосок и тут же с криком откидывается. Что такое? Кинулись обследовать – сначала младенца, потом мать. Эва! Оказалось, на сосках у неё волось стали расти. Да не какие-то былинки-завитушки, а жёсткие да колючие. Они-то и изводили мальчика. Его голод донимает, он к мамкиной титьке тянется, а там, как на передовой, – колючая проволока. Прикусит он сосок своими губёшками да от боли и страха заверещит. И она, видя его мучения, – в слёзы. Так и ревут в два голоса. Пробовали те колючки состригать, выдирать пинцетом, а волосы ещё больше прут. Помаялись бедолаги с неделю, извелись оба, пока молоко и вовсе не пропало. Пришлось переходить на искусственную кормёжку. Так Алёшка, по сути, и не отведал материнского молока.

Под вечер, когда Пакратов с сынишкой уже давно нарядили елку, пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Это были ряженые с женой службы. Перезрелые девицы, изрядно покрашенные и заметно поддатые, несли какую-то дежурную околесицу. Протараторив свои дикие спичи, они вручили Алёшке кулёк со сладостями и отвалили.

– А тетя Мороз про серьги забыла, – заметил востроглазый Алёшка.

Новый год Пакратовы встречали благопристойно. Всея семьёй посмотрели в очередной раз «Иронию судьбы». Алёшка под конец первой серии уснул, Сергей отнёс сынишку в кроват-

ку и вернулся к телевизору. На экране разворачивались сцены московско-ленинградской ревности. Сергей покосился на жену. Изменяла ли она ему? Он не особенно задумывался. Во-первых, потому, что был не безгрешен сам. А во-вторых, потому, что её трудно было в этом заподозрить. Однажды Сергей все же что-то обронил, пребывая на традиционной Филиной пятнице. Филя с велеречивой мудростью диктора армянского радио ответил кратко: «Можно ли изменять мужу, постоянно пребывая в объятиях Морфея?!»

«Ирония судьбы» подошла к финалу. На экране возникла с поздравлениями какая-то правительственная голова. Потом забили куранты. Пакратов поспешно открыл шампанское и разлил по бокалам. Загадывать ничего не хотелось – всё было ясно и так. Чокнулись с последним ударом. Шампанское было кислотоватое и сухо шибало в нос, продирая аж до гортани. Посмотрев немного концерт, они с женой отправились спать. Спали на сей раз вместе. Волосы у неё на сосках по-прежнему росли.

* * *

Утром опять разбудил Алёшка. Под ёлкой он обнаружил коробку. Похмелья у Сергея не было, и он очнулся, не морщась.

– Ну-ка, ну-ка, – почти не играя, заинтересовался он. Алёшка притащил подарок. Сергею самому было любопытно, что скрывается под яркой картинкой. Распаковали. В коробке оказались пластиковые детали, которые предлагалось склеить и таким путем соорудить клипер. Отец с сыном ощупали все конструкции, оглядели чертежи, порядок сборки, нашли тюбик с клеем и после завтрака принялись за дело.

Сборка парусника шла медленно. Алёшке это занятие вскоре наскучило. К тому же клей шибал в нос и щипал глаза. Сынишка стал отвлекаться и в конце концов переключился на машинки. Склеив половинки корпуса, нарастив надстройки, Сергей тоже отложил дело:

– Чайный клипер должен пахнуть чаем, пряностями заморскими – миндалём, корицей и кориандром. Но главное – чаем. А этот...

Тут вернулся Алёшка. Ему понадобилось починить машинку. Отломалось колёсико, и Дед Мороз со Снегурочкой не могли отвезти подарок. Подарок – конфета – предназначался папе.

– И маме, – напомнил Сергей.

Алёшка кивнул.

Сергей укрепил колёсико и потрепал сынишку по светлым волнистым волосёнкам.

– А как ты думаешь, сынок, Снегурочки замуж выходят?

– А что такое замуж? – переспросил Алёшка. Знал ведь, небось, а переспросил. – Это как вы с мамой?

Сергей неопределённо повёл плечами и одновременно кивнул. Алёшка помешкал, тоже пожал плечами и убежал.

II

2 января выпало на понедельник, однако день был нерабочий. Пакратов с сынишкой, взявшись за руки, отправились во Дворец пионеров. Ёлка там стояла та самая, которую, как писалось в газете, «учреждению для детей предоставило областное охотуправление».

Дворец сверкал. Народу в залах была тьма – больше, естественно, детворы. Бабушки, мамы и редкие папы кучковались по углам. Одни любовно, другие с родительской опаской, а третьи с явной скукой и послезастольной усталостью, они приглядывали за своими чадами.

Пакратов устроился в дальнем конце. Алёшка то устремлялся к ёлке, которую всякому встречному представлял как папину, то к райку, где выступал Петрушка, то к буфету, где давали лимонад и пирожные. Наконец, броуновское движение утомило его, он устроился у папы на коленях и стал наворачивать мороженое.

Вскоре раздался мелодичный звонок. Дед Мороз со Снегурочкой повели детвору в зрительный зал – там намечался концерт юных дарований. Взявшись за руки, отправились туда и Пакратовы. Сергей обычно усаживался с краю, чтобы при надобности беспрепятственно улизнуть, – это вошло в привычку ещё со студенческих времён. Но Алёшка потащил на самую середину, и Сергей поневоле уступил ему.

Начался концерт. Ребятишки пели, читали стихи, танцевали. Их обаятельная неуклюжесть вызывала умиление. Каждого участника встречали и провожали бурными овациями. Сергей аплодировал вместе со всеми. Однако неожиданно поймал себя на том, что следит не только за сценой. Его почему-то всё больше притягивало к залу – к этим притушенным полумраком рядам. Словно что-то коснулось сознания и обеспокоило. Не поворачивая головы, он переводил глаза с ряда на ряд, вглядываясь в промежутки между креслами. И когда после очередного номера включили люстры, наконец обнаружил...

Она сидела на первом ряду. Мог ли он обознаться? Наверное. Но его зрение в этот миг обрело вдруг такую пронзительную ясность, что он даже оторопел. Пучок каштановых волос, напоминающий тайфунчик, эта ушная раковинка, так незащищённо открытая пространству... Нет, ошибиться он не мог. Чтобы улучшить обзор, Сергей вытянул шею. Сзади донеслось недовольное шиканье. В этот миг тайфунчик сместился, и перед Пакратовым вдруг открылся профиль. Да, он не ошибся – это была Ламка. Сердце подпрыгнуло, он едва не последовал за ним. И тут же, самонадеянно решив, что растревожил её взглядом, утянул голову в плечи. Нет, она обернулась не на него. Предметом её внимания оказались бантики, что торчали над спинкой соседнего кресла. Кресло было бордовое, а бантики пёстрые. Они напоминали Филиного махаона. Сергей от удовольствия аж прищурился. Но тут с другого от махаона бока возникла помеха. Что такое? Сергей слегка сместился влево, отыскивая створ, и тут увидел, что над бантиками возник мужской профиль. Прямой нос, скобка русских усов, острые уши. Вот это, значит, и есть Евгений Юрьевич. У Пакратова хрустнули пальцы. Неприязнь возникла помимо воли. Не найдя ничего отталкивающего в облике, он переключился на позу. Ну, конечно же! Сидит, развернув свою косую сажень, а того не соображает, что позади мостится щуплый пацанёнок. Вон как он отчаянно вытягивает шею, пытаюсь что-то там разглядеть.

Негласные порицания прервали аплодисменты. Объявили следующий номер. И тут бантики вспорхнули. Девочка – её дочка – Сергей так и определил это для себя: «её», – пошла на сцену. Внимание Пакратова целиком переключилось на неё. Он следовал за нею взглядом, остерегаясь, чтобы – не дай Бог – она не споткнулась. Нет, не торопясь и глядя под ноги, она поднялась по ступенькам, вышла на сцену, неспешно подошла к пианино. Тёмный костюмчик с белой оторочкой, белые чулочки, наряд был выполнен со вкусом и изяществом. Пакратов прищурился, пытаюсь получше её разглядеть. Черты лица издали терялись, но пластика, но жесты были мамыны. Это от него не ускользнуло. Возле пианино Ламка-дочь остановилась, грациозно поклонилась залу, послав, как воздушный поцелуй, своего махаона, и устроилась на стульчике. Несколько секунд она была неподвижна, держа руки на коленях, потом вскинула их. Раздались первые аккорды, и полилась музыка. Пакратов не большой знаток фортепианного искусства, но этому исполнению поразился. Откуда в таком крохотном существе столько

воли, столько энергии, столько ожидания и одновременно тревоги, столько какой-то недетской страсти? Глаза невольно метнулись к Ламке. Да как – откуда!

Музыка лилась, музыка трепетала, музыка пульсировала. А Сергей не отводил глаз от Ламкиного тайфуна, её ушной раковины и, сдаётся, сам был готов раствориться в этом потоке звуков и проникнуть, хотя бы на миг, в её распахнутую сейчас душу...

Тут опять возникла помеха. Над опустевшим креслом, откуда минуту назад вспорхнула бабочка, снова возникла гладковыбритая щека. Родителю не терпелось пошептаться, дать оценку чаду или что-то там очень срочное, безотлагательное сообщить. Сергея охватила неприязнь, больше того – в нём стала закипать злость. Но тут он усмотрел такое, отчего сердце его опять подпрыгнуло. Это был один жест – короткий плеск Ламкиной руки. Рука чуть вскинулась в ответ на доuku – дескать, погоди, не мешай, дай же дослушать – и просительно замерла. Это был не просто жест, не просто просьба только минуточку помедлить. В этом всплеске угадывалась отстранённость и, может, даже – защита. Ага, оценил Сергей, меж ними кресло, пустое кресло, только девочка, что сейчас исполняет Шопена, связывает их, ничего более. Догадка его была, конечно, зыбкой. Он это сознавал. Более того, испытывал неловкость перед девочкой, которой отвёл в своём заключении столь малую роль. Однако поделаться с собой ничего не мог. Ему хотелось так думать и ему надо было так думать – даже вопреки здравому смыслу и, может быть, совести. А потому, сделав важное для себя открытие, он посылал в эпицентр Ламкиного тайфунчика нежные флюиды. Достигали ли его посылы её души – кто знает, но однажды она коснулась мочки уха, как бы поправляя выбившуюся из тугого тайфунчика прядку.

Девочка отыграла эту. Поднялась с места, вновь изящно раскланялась. Она была постарше Алёшки, ей было лет девять. Так Пакратов определил, когда она спускалась со сцены. Возвращение её сопровождалось бурными овациями. Сергей хлопал в ладоши, наверное, громче всех. Но встречи её с родителями, заполнение отмеченной пустоты наблюдать не захотел. Он просто низко съехал на сиденье, чем вызвал одобрителный вздох за спиной, и весь остаток концерта просидел с закрытыми глазами.

Очередь в гардероб двигалась медленно. Алёшка, ровно застоявшийся жеребёнок, бегал из конца в конец вестибюля, из-

вода нерастраченную энергию. А Пакратов переживал людское столпотворение, держась в тени колонны. Встречи с Ламкой он здесь не искал, опасаясь расплескать то ощущение, которое угнездилось в душе. Однако, чем меньше становилось в вестибюле народу, тем реальнее была её вероятность. Так оно и произошло.

Ламка стояла возле зеркала. Сначала Сергей увидел отражение, отстранённое от него, а потом и её. Больше того – их взгляды на миг пересеклись. Ему тогда показалось, что всё её существо устремилось навстречу... После Сергей попытался унять, пригасить то ощущение. Он твердил себе, что это – зеркальный эффект, контраст между «нет» и «да», лицом и спиной, то есть плод его воображения. Но чем больше он так думал, тем сильнее упорствовало сердце. Да, он мог вообразить тот совершенный несовершенный порыв: в зеркалах – спиной, а въяви – вся навстречу. Зеркала могли обмануть, зеркала могли слукавить. А глаза?!

* * *

Праздники закончились. Но охотуправление продолжало жить в предновогоднем режиме, поскольку многие сотрудники ещё находились в отпусках, и Пакратова в эти дни никто не тревожил. Четвертого января Сергей позвонил в редакцию. Ламки на месте не оказалось – она уехала в командировку, причём в самый дальний район. Над краем как раз начал разворачиваться циклон. Сперва потянула позёмка, потом густо повалил снег, а через час разыгралась нешуточная метель. Улететь успела, а как обратно? Погода складывалась явно нелётная. Застранет там, чего доброго. Нежность Сергея мешалась с тревогой. Надо было что-то предпринимать. Решимости добавила синичка, которая в поисках укрытия пристроилась на полуоткрытой форточке. Даже хвостиком бедолага не трусила. Тогда Сергей с ходу поднял трубку и набрал номер. Связь, по счастью, была. Начальник районной охотоинспекции оказался на месте. Объяснение заняло не больше минуты. Просьба заключалась в следующем: необходимо разыскать сотрудницу молодёжной газеты, взять её под опеку и оказывать всяческую помощь и содействие. «Бу сделано, Сергей Фёдорович!» – донеслось с другого конца. Положив трубку, Сергей подмигнул синичке. В эффективности звонка он почти не сомневался: просьба вышестоящей инстанции – закон для нижестоящей. А что касается угрызений совес-

ти, дескать, использует служебное положение в личных целях, то этого у него и в мыслях не было. Какие же они личные, коли речь идет о представителе общественно-массовой газеты?!

В те дни Сергей думал о Ламке непрестанно. Мысленно обращаясь к ней, придумывал всякие монологи, в которых представлял значительным, умным и великодушным. Не все из этих спичей получались, однако иные ему нравились, и он прятал их до лучших времен в свои записные запасники.

Толчком для этих литературных упражнений послужила та злополучная байка, которую Пакратов никак не мог завершить. Если бы речь шла о радио, он, возможно, так не маялся и давно бы разрешился от этого бремени: немного музыки, голос хорошего диктора – там любая душещипательная история превращается в конфетку. Но на сей раз ему предложили подготовить что-нибудь для областной партийной газеты. Немного помешкав, Пакратов решил переадресовать наполовину слеplенную байку туда. Вот это-то и сыграло с ним злую шутку. Осознав иную степень ответственности, он зажался, скукожился и часами не мог выдать из себя ни одного путного слова.

Домой в тот день Сергей возвращался пешком. Дорога шла вдоль набережной. Метель пригасла, но небо было пасмурно, только далеко-далеко, в той стороне, куда улетела Ламка, мерцала тонюсенькая полоска заката.

В свете одинокого фонаря носилась стайка школяров. Захмелевшие от каникул, они без устали гоняли футбольный мяч. Чуть в стороне, сидя на спинках скамеек, полизывали мороженое девчонки. От компании исходил пар, дух безмятежности и вольницы. Но Пакратов им не завидовал.

* * *

Редакции партийной и комсомольской газет располагались в одном здании. Их разделял просторный вестибюль, в одном углу которого находился гардероб, а в другом стоял большой бильярдный стол. Сдав, наконец, злополучную байку, Сергей остановился возле этого стола. Грех было не сыграть партийку, коли выпадала возможность. Но главное, что его придерживало здесь, – Ламка. Он уже знал, что она вернулась и втайне надеялся её встретить.

Игра на бильярде увлекла Сергея. Он даже забылся, упоённо закладывая шары то в одну, то в другую лузы. Честь «стрел-

ковой» фирмы он в этих поединках не посрамил, одолев одного за другим нескольких противников. Началась новая партия. Она также складывалась в его пользу. Он нацелил кий для очередного удара. Но тут в поле зрения кто-то возник. Прежде чем заложить шар, Сергей смигнул и на сей раз... промахнулся. Потому что боковым зрением увидел Ламку. Его с нею разделяло зелёное поле стола. Сергей чуть подосадовал, что промахнулся – это произошло по инерции, – одновременно улыбнулся и, видя, что опять наступил его черёд, показал пятерню, дескать, всего пять минут. Ламка понимающе кивнула. А он вдруг с чего-то запижонил, стал крутить, финтить, закладывать «карамболи» и в итоге партию, которая складывалась в его пользу, с треском проиграл.

– Это из-за меня? – чуть сокрушённо осведомилась Ламка, когда он отошёл от стола.

Сергей ещё весь был в азарте игры.

– Пустяки, – отмахнулся он. – Лучше скажите, как у вас? Где пропадали? Не зазябли там? Я несколько раз звонил. В редакцию. Никто толком ничего не сказал...

– Звонили?.. – улыбнулась она, глянула на его унты. – Но не только, видать, в редакцию?..

Он скромно промолчал, неопределённо пожав плечами. Она, однако, не оставила тему.

– Это ведь с вашей подачи меня там опекали? На «Буране» домчали, а потом ещё на «козлике»...

– Помогать хорошему человеку – наш долг, – велеречиво брякнул Пакратов.

– Спасибо, – задушевно отозвалась она и тронула его за локоть. – Хотите чаю?

Сколько раз он представлял себе подобную минуту, репетировал возможные мизансцены, её вопросы и свои ответы, а дошло до дела – вдруг смешался, заробел, точно пацан, слова нужного не мог найти, только и хватило, что молча кивнуть да по-дурацки приложить руку к сердцу. Но, отчего? Что произошло? Куда делась уверенность и напор? Что околдовало, сделало его едва не истуканом с острова Пасхи? Глаза её влажные? Запах тонких колдовских духов? Или её рука, которая вдруг переплелась с его рукой? Он шёл покорно, как бычок на коротком поводке. Чем больше он Ламку узнавал, тем больше она казалась недоступной.

Пройдя по просторному коридору в самый конец, они оказались в небольшом кабинетике.

– Вот здесь я обитаю, – повела рукой хозяйка. – Это мой стол, – она кивнула в правый угол, – а здесь, – она показала на противоположный стол, – сидит моя коллега.

Видимо, та, отсутствовавшая сейчас коллега, и сокрушила его перед праздниками. Сергей слегка неприязненно посмотрел на то место, но, заметив между столами стул, живо устремился туда. Он казался себе неуклюжим, неловким, и ему сейчас нестерпимо хотелось как-то спрятаться и даже уменьшиться в размерах, до того не удавалось никак прийти в себя. Ламка, видимо, догадалась о его состоянии. Она подошла к тумбочке, на которой сверкал графин с водой, и принялась, как ему показалось, нарочито громко звякать посудой. Она стояла к нему в профиль. Чёрные сапожки на высоком каблуке, серая ниже колен юбка, серый толстой вязки длинный жилет и чёрная водолазка – всё на ней сидело ладно, делая её фигурку стройной и изящной. Как было не залюбоваться, не скользнуть глазом по всем скрытым или подчеркнутым линиям! Тут она покосилась, перехватила его взгляд и ободряюще улыбнулась. Он, застигнутый врасплох, смутился, поспешно отвёл глаза, стал с деланным интересом осматривать кабинетик. Стены были пустые и голые. Наконец его осенило перевести глаза на её стол. Под куском плексигласа угадывался портрет дочери – он догадался об этом, потому что разглядел пианино.

– Как её зовут? – спросил Сергей.

Ламка перехватила его взгляд.

– Ксюша.

– А мой малый ничем пока...

Она поняла.

– Ничего. Наверстают. Какие его годы! И потом замечено ведь – мальчишки медленнее развиваются.

Одна из фраз ошеломила его: «Какие его годы!» Значит, там, во Дворце, она видела Алёшку. «Значит, после того, как наши с нею взгляды на мгновение встретились – а это было без Алёшки, он где-то носился, – она утайкой, мимоходом продолжала наблюдать за мной. Значит, искала, находила, снова теряла и опять отыскивала меня».

Представив вновь – уже со стороны – ту их мимолётную встречу, Сергей ободрился. Скованность и неловкость стали потихоньку проходить. Он даже не потерял нить разговора.

– Может быть, – согласился он, речь шла об Алёшке. – Хотя я в его годы уже по компасу умел ходить.

Ламка на эту реплику слегка улыбкунулась. Сергей понял, почему она улыбкунулась, а поняв, опять стушевался. Однако она не позволила распалиться его разрушительному воображению.

– Всё индивидуально, – отозвалась она: – Я в детстве мечтала стать врачом, а теперь вот... – и показала на пишущую машинку.

– И давно? – уточнил Сергей.

– Уже восемь лет, – она поставила на стол две дымящиеся чашки. – С перерывом, правда...

– И?

– Думаю, моё... Новые места, новые люди. – Она села за стол, включила большую настольную лампу. – Это, наверно, от мамы. В юности она геологом была... А дед мой был моряком. Он из греков... Вот и я люблю странствовать... Отпишусь за командировку и снова в дорогу...

– О «Буране» похлопотать? – отхлёбывая чай, осведомился Сергей.

– Только в кавычках...

Он кивнул:

– Конечно, в кавычках. Над тем, что без кавычек, я не властен.

От него не ускользнул её взгляд: дескать, как знать?! Свет большой зелёной лампы – изделия пятидесятих годов – придавал ему магическую силу. На Сергея ещё никто так не смотрел. Он терялся и одновременно – надо же! – разбухал в собственных глазах. Вспомнился концертный зал, свои настойчиво посылаемые в эпицентр Ламкиного тайфунца флюиды. А что? Может, и впрямь она не случайно касалась тогда завитка?

Прихлёбывая чай, Сергей украдкой любовался мочками Ламкиных ушей, заметил родинку на шее, укрывшуюся в тенёчке. Почему-то казалось, что это только верхняя часть созвездия, что там, в потае, за воротом свитерка, есть и другие. А ещё его глаза беспрестанно отыскивали Ламкины губы. Эти губы, казалось, жили сами по себе и порхали в воздухе, то удаляясь, то приближаясь, как дивные бабочки. Но всего загадочнее выглядели Ламкины глаза. Карие, большие, подсвеченные изумрудом лампы, они были одновременно беззащитны и безоглядны. Как это могло существовать одновременно – он не знал, но именно так оно и было.

К концу чаепития Сергей отметил, что на щеках Ламки за мглился румянец. Сергею нестерпимо захотелось коснуться его. Он с трудом сдерживался, чтобы не протянуть руку. Ламка, ви-

димо, почувствовала это и попыталась увести его внимание в сторону – она заговорила о виде из окна, о предстоящей командировке, ещё о чём-то...

И тут произошло нечто странное. Ни с того ни с сего стала мигать настольная лампа – это основательное изделие середины века. Касаться лампы – они не касались. Кипятильник из розетки был выдернут. То есть видимых помех как будто не существовало. К тому же верхний свет горел ровно, без сбоев, а значит, напряжение в электрической сети было стабильным. Однако лампа не успокаивалась. Она мигала, пульсировала, потрескивала. Поначалу они старались не обращать на неё внимания, ведя неспешную беседу. Но чем дальше продолжалась встреча, тем напряжённее вела себя лампа. Особенно явственно проявлялось её беспокойство, когда они умолкали. А однажды, когда возникла особенно яркая вспышка, они, не сговариваясь, посмотрели на лампу, потом перевели глаза друг на друга, и Сергей – от греха подальше – её выключил.

* * *

Байка Пакратова была напечатана с ходу, в считанные дни. Однако не потому, что произвела в редакции сильное впечатление. Отнюдь. Объяснение оказалось самое прозаическое. После рождественских и прочих каникул редакционный портфель опустел. Вдобавок по каким-то причинам «слетела полоса», как ему объяснили в отделе. График поломался, образовавшуюся брешь надо было чем-то заполнять. Вот и заткнули первыми же оказавшимися под рукой текстами.

Слышать такое было неприятно. Однако не это, разумеется, обескуражило Сергея. И не с этим за объяснениями он обратился в редакцию. Убрали концовку. История с гуменником, которого приютили дети, благополучно закончиться не могла. Пакратов как спец обязан был объяснить, что звери и птицы, оказавшиеся в неволе, теряют навыки, что нельзя их одомашнивать, а потом выпускать в дикую природу. Но этот абзац, завершавший историю, в редакции взяли да и выкинули. «Хвост вылез», – коротко бросил секретарь.

От всего этого, а ещё потому, что Сергей остро осознал всю слабость своего опуса, ему сделалось горько и досадно. На службу он пришёл в раздражённом состоянии. А тут ещё Филин подвернулся:

– Всю свою печаль он вложил в светлый образ гуся лапчатого...

Сергею бы на эту язву отшутиться, в крайнем случае смолчать, а он ни с того ни с сего вдруг взвился.

– А чего ты знаешь про меня! – Сергей схватил Филю за грудки. – Чего ты знаешь! Когда я убил первого косача, я ревел. Понимаешь, ревел!.. Потому что пацаном был, ребёнком...

Филя – редкий случай – не перечил. Он поправил съехавшие очки, неожиданно мягко приобнял Сергея и молча повёл в боковушку. Там он снял с Пакратова полушубок, ушанку, выдернул из-за стола стул, посадил его, а сам сел напротив.

– Ну, чего ты, Серенький?! Ёшкарне...

Пакратов малость поостыл, опустил голову. И так, сидя с упёртыми в пол глазами и безвольно повисшими руками, выложил всё.

– Сначала-то я ликовал. Орал во всё горло, когда сшиб того косача... Как первобытный... Представляешь... Мне тринадцать лет. Батяка впервые взял меня на охоту, дал в руки одностволку. Сижу под берёзой, на ней чучалка. Вокруг снег, тишина. Десять минут, двадцать. Зябко. Начинаю коченеть. Мороз градусов двадцать. Уже зубами постукиваю. И вдруг – фр-р! – на мою берёзу садится матёрая птица. Сердце прыгает. Я вскидываю ружьё и с ходу – бах-х! Приклад в скулу, по носу. С берёзы – валом снег. Ничего не вижу. Уши от грохота заложило. И тут у ног – бух! – точно взрыв. Я ещё вверх пялюсь. Сквозь порошу вижу, как кружится перо. Медленно так парит, вокруг оси вращается. Я ору, всё ещё ору. Что-то ликующее, победное. И боюсь опустить голову. Потому что кровь прёт из разбитого носа. И потому что боюсь увидеть... Потом всё же наклоняюсь и вижу: матёрый косачина с переломанными крыльями лежит у моих ног. Я уже не ору, я что-то выстанываю. Из носа – сопли, кровавая юшка. Моя кровь мешается с косачиной, которой обagrён снег. Ноги подламываются. И слёзы...

Сергей осёкся, горло перехватило. Ему с трудом удалось подавить спазм.

– Был я мальчик, дитя, а...

Филя взял его свисавшую с колена руку, зажал меж своих ладоней.

– Мальчик-с-пальчик, – каким-то чужим голосом обронил он, потом потрепал Сергея по плечу и, ничего более не сказав, вышел.

* * *

Газету со злополучной публикацией Пакратов засунул меж конторских книг и папок, которые лежали на кромке стола. Ламка, к счастью, была в командировке. На сей раз – к счастью. Может, она и не увидит этого номера.

* * *

День был пятница, к тому же тринадцатое число. Но Сергей не утерпел и позвонил. На сей раз Ламка выезжала в ближние места и должна была обернуться за день. Так оно и вышло. Она оказалась на месте. Сердце Сергея прыгнуло выше потолка, когда он услышал её голос.

– С приездом, – сказал Сергей. – Как командировка? Ламке студёно в северных краях?

Говорить в третьем лице было удобно – дистанция между «вы» и «ты» словно сокращалась.

– Ничего, – отозвалась она, голос был приветливый, ласковый. – Повсюду согревала незримая забота. – Это было добавлено с лёгкой иронией, но не обидно, а наоборот – хорошо. Сергей аж вытянулся в ожидании.

– А как же обещанный визит? Секач замер по стойке смирно, взяв клыки на караул.

Она приглушённо и, как ему показалось, задушенно засмеялась.

– Секачу привет! – отозвалась она. – Загляну в субботу. – Тут же уточнила. – Если можно. – И еще уточнила. – С двумя кассетами.

– В десять, – уточнил в свою очередь Сергей. Дыхалки хватало только на это. Сердце бухало, задыхаясь без воздуха.

– В десять, – донеслось эхом, и он обессиленно опустил трубку.

* * *

Вход на второй этаж был расположен с торца. Сергей взял на вахте ключ, обошёл здание со двора и поднялся наверх. В тишине и безлюдье коридора шаги раздавались гулко и тревожно. Ещё тревожней и чаще билась в висках кровь. Ключ от кабинетной анфилады «охотнорядцы» держали в ящике пожарного гидранта, что был приколотчен подле дверей. Ну, а

ключик от его кабинетика висел вместе с домашними ключами на брелке.

До оговоренного часа оставалась ещё уйма времени. Сергей оглядел кабинетик, кое-что прибрал на полках и стеллажах, потом занялся столом. Убрал лишние папки, протёр влажной тряпочкой полированную столешницу, поправил письменный прибор, изображающий охотников на привале, раскрутил провод телефона... Газету со своей публикацией положил зачем-то сверху, потом всё же придавил её папкой, но при этом на треть вытащил.

Ламка появилась неслышно. Сергей даже слегка вздрогнул, завидев её в дверях.

– Копытца у ламок совсем невесомые, – заключил он, устремляясь навстречу. Она улыбнулась, поздоровалась, растегнув дублёночку, повела плечиком, собираясь скинуть. Он готовно протянул руки.

– Ламки легки на подъём, – согласилась она. Сказала просто, без кокетства и, высвободившись из рукавов, повернулась к Сергею. На ней были белый свитер и джинсы. – А сохатые как? – Она тронула чучело лося, что недавно привезли на реставрацию.

Сергею нравилось, что при виде этих бывших животных, от коих осталась одна телесная оболочка, она ведёт себя естественно и непринуждённо, что не демонстрирует неуместно-запоздалой жалости или сожаления. Ни тени ханжества не мелькало в её жестах и словах. Этим она походила на Алёшку, который очень любил здесь играть.

– Сохатые! – Сергей коснулся полинялого в музейной сутолоке лосиного бока. Нечто подобное, по другой, правда, причине, происходило на его маковке. – Сохатые в полёте усыхают, – брякнул он. – Совсем обтёрхался, бедолага.

– Неправда, – возразила она. – Он еще вполне. – Она с улыбкой коснулась кожаных губ и чуть рискованно-отстраненно добавила: – Моей ламке он глянулся бы...

Сергей кинул быстрый взгляд. Она в ответ не повела и глазом, словно ничего более и не подразумевала. А может, и впрямь ничего не подразумевала?..

Сергей вернулся к столу, откупорил бутылочку «Каберне». Наполненные рубиновым светом тонкие стаканы поднёс гостье. В её руке вино словно ожило, заиграло, бросая сполохи на лицо. Это напоминало ту ошалевшую настольную лампу. Сергей был не в силах оторвать глаз и утайкой или прямо всё ловил

и ловил, как порхают, словно сами по себе, её безмолвные, но такие трепетные губы.

Ламка обходила «охотнорядские» кабинеты, легко касаясь чучел, постучала по сейфу-шкафу, где хранилось оружие, мельком пробежала глазами схемы и таблицы. Чуть дольше она задержалась у плаката с изображением лаек, выхватив пояснительный термин «вязкий в работе». Как мог, он это объяснил, избегая определений «кобель и сука». И тут опять смешался. Что вызвало это состояние, кто знает – то ли вынужденная неестественность в терминологии, то ли микрофон Ламкин, который она, задавая вопросы, время от времени подносила, то ли вообще её близость, – но Сергей смешался, стал отвечать невпопад, путаться. Она, видимо, отметила это, потому что обернулась и, ему показалось, чуть победительно, словно что-то доказывая, улыбнулась.

И тут до него дошло. Она же была сейчас в гостях. Причём не совсем по делу или даже совсем не по делу, хотя они и условливались о деле. Потому-то и вела себя иначе, чем у себя. Там, у себя, в редакции, она была мягкая, естественная, а здесь и сейчас напряглась, хоть и виду не подавала, говорила чуть резче, отрывистой.

От этой догадки Пакратов воспрянул, скованность его ослабла, он плеснул в оба стакана вина и, уже не остерегаясь что-либо сделать или сказать не так, стал, плавно висясь вокруг неё, сам всё показывать и рассказывать. Глаза его при этом не упускали ничего – ни жеста, ни взгляда, ни поворота головы, ни линии туго облегающих джинсов, ни белого толстой вязки свитера, под которым явственно улавливалось трепетание. Это напоминало всполохи куропаток под снегом. Белый снег и белые куропатки. Он так прямо и сказал, упёршись глазами:

– Как куропатки под снегом...

Она на миг вспыхнула, смешалась. Однако тут же нашлась:

– Хороший образ. Это что, домашняя заготовка? Очевидно, для будущего анималистического очерка? Впечатляет. А вот с этим, – они как раз возвратились к столу, и она коснулась края газеты. – С этим спешить, по-моему, не следовало... Про животных, про гуменника – это хорошо. А детская психология, мне кажется, не выверена. Дети проще и в то же время мудрее нас. Ведь так ведь?!

Пакратов напрягся, похолодел. Но эта последняя фраза – полувопросительная, полуутвердительная – разоружила его. Он почти виновато пожал плечами. И вдруг ни с того ни с сего сно-

ва вспомнил свою первую охоту – всё то, о чём рассказывал уже Филе... Распластанный глухарь на искристом снегу. Его конвульсии, эти последние трепеты. И кровь на белом – рассыпанные бусины, словно брусника в сахарной пудре. И собственная кровь, капли её, дробящие те настаивающие уже бусины. И боль, и смятение. И радость, и вина... И слёзы...

Сергей говорил о том же и почти теми же словами, что и Филе. Но получалось это как-то иначе. Перед Филей он словно оправдывался. А теперь как бы объяснял. Да нет, не объяснял – что-то нащупывал. Что-то важное и значительное. Причем не только для себя...

Сергей не сразу осознал, для чего говорит, для чего повторяет ту давнюю историю. А Ламка – и давно. Зато она почувствовала. Она не столько поняла это – сколько почувствовала. Протянув руку, Ламка потрепала Сергей по шевелюре, коснулась наметившейся тонзурки. Последнего он вынести не мог, но, чтобы не показывать истинную причину, мягко ускользнул, рассчитывая приблизиться к её губам. Но тут в свою очередь ускользнула она, повернувшись к нему спиной. Запах волос, аромат тонких духов, едва уловимый запах кожи... Щека его коснулась раковинки её уха. До чего же нежной оказалась мочка. Мягче, чем он предполагал, когда касался её взглядом. Хотелось чувствовать эту нежность и длить и длить, только бы не было протеста. Щекой он воспринял чуть уловимый отзыв и тихо-тихо, чтобы не спугнуть, соприкоснулся своим ухом с её раковинкой.

– Ау, – одними губами выдохнул он. – Я слышу море.

Она поняла.

– Какое? – шёпотом отозвалась она. До него донесся глубинный шелест.

– Тёплое... Оно тихо накатывает на берег. Хотя...

– И я, – быстро отозвалась она, – и я слышу море... Оно северное. Но оно беспокойное. Оно бурлит...

– Это сулои. Так называются встречные течения. Они обрушиваются друг на друга и плещут, создавая сумятицу.

– Опасное природное явление?

– Для водоплавающих наверное – для моржей, для тюленей... Но только... не для ламок.

Она не отозвалась на этот поворот, потому что отозвалась на руки, которые он тихо опустил на её плечи.

– Отчего, – она чуть помедлила, – отчего эти противоречивые течения? Эта сумятица?

– От природы, – виновато улыбнулся он. – От конфигурации берега, от рельефа дна, от ветров, от магнитных явлений... Да мало ли...

Он мягко уходил от ответа, но она и не настаивала. Тем более что его руки тоже требовали внимания. Плечи её напряглись, когда ладони его потекли вниз. Аукание двух раковин прервалось, потому что на переговоры устремились его губы. Именно губами можно было до конца понять всю нестерпимую нежность её мочки. Вот туда, в эту мочку, которая так естественно рифмовалась с зацветающей почкой, он и вышептал всё.

– А и впрямь белые.., – оценил он то, что в этот миг постиг руками. Он не лукавил. Глаза его сделались незрячи, зато невероятно пронизательными стали пальцы.

Более Ламка не сдерживалась. Не оборачиваясь, она обхватила голову его обеими руками и стала ворошить волосы, касалась затылка, шеи, его пылающих ушей. Её ладная крепенькая фигурка прижималась к нему, точно Катти Сарк – к форштевню корабля. Лицо её, разгорающееся самозабвенным огнём, подобно лику Катти Сарк, было готовно обращено в неизвестность. Но в отличие от своей рукотворной сестры Ламка была из плоти и крови, живой, трепетной и манящей. Теряя рассудок, Сергей подхватил её на руки. Краем сознания попытался вспомнить, запер ли на ключ двери, однако рассудка хватило лишь на то, чтобы унести её на диван.

* * *

Тот диван, чудом сохранившийся от гласных городской думы, дождался Сергея и Ламку почти сто лет.

– У него есть название? – осведомилась Ламка, когда они немного пришли в себя. Сергей пожал плечами, благоразумно не помянув Филину ересь про мавзолей. По аналогии вспомнилась пирамида, всплыли имена Тутанхамона и Нефертити. Но от упоминания их он тоже воздержался, справедливо заключив, что у пирамиды и мавзолея одна суть.

– Ковчег, – вскинулась Ламка. – Тогда Ковчег! – Волосы её были распущены. Она казалась чуть иной и от этого ещё более желанной. А созвездие родинок на груди, которые он, как звездочёт, сперва вычислил, а теперь открыл, представлялось ни больше, ни меньше как его частной собственностью.

Свои лингвистические поиски они продолжили через некоторое время, когда вновь перевели дух.

– Кругом звери, птицы, – повела Ламка утомлённо полуоткрытыми глазами. – Пусть это будет земляничная поляна.

– Это не звери-птицы, – сморённо возразил он. – Это застывшие сфинксы. Это химеры на соборе...

– Нотр-дам де Пари? – уточнила она.

– Ага, – кивнул он, – а я среди них... Квазимодо. – При этом приподнялся на локте и сморщил устрашающе-ужасную гримасу.

Ламка приняла эту игру, но озвучила её по-своему. Она молитвенно сложила ладони и пролепетала:

– О, неправда, возлюбленный мой! Ты прекрасен, возлюбленный мой! Твои уста, как сахарный мёд, твои руки, как виноградная лоза, твои ноги...

– Как слоновьи столбы, – не выдержав, прыснул он. Бедный Соломон, знал бы он, как безродный прощелыга глумится над его царственным образом! Но что поделать, если на прощелыгу напал смех и вся его сущность ликует и радуется. Ламка тоже с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться, однако образ бедной девушки из виноградника не потеряла.

– О, неправда, царь утех моих! Ты прекрасен, возлюбленный мой! Утверждаю это вновь и вновь, хоть и пересохли уста мои...

– Ром? Эль? Малага? – живо осведомился Сергей. Это было из другой оперы. Но Ламка не стала редактировать его чушь, а просто довела до конца свою партию:

– Утолите меня вином, освежите меня виноградными струями...

Он вскочил с дивана, в три прыжка сбегал за стаканами, и почти не прикрываясь – да и чем? – полетел обратно. Ламка, сложив трубочкой пальцы, изображала не то пирата, не то адмирала Нельсона, прильнувшего к подзорной трубе. В горле её закипал смех. Вино, которое он подал, она, разумеется, разлила. Причем частично на диван, частично на его чресла, частично на пол.

– Баб-эль-Мандебский разлив, – по слогам произнёс он. – То бишь пролив.

Она прыснула и хлопнула по дивану:

– А это тогда – необитаемый остров.

– А мы разве не обитатели? – по-туземному выпучил глаза Сергей.

– Тогда обитаемый... под названием...

– Ну-ка?... Ну-ка?..

– Остров Краснобрового глухаря, – Ламка лукаво повела глазами.

– Тогда уж лучше так – остров Тетеревиных гуляний.

– Те-те-те.., – подхватила она и кончиками пальцев пробежала по его груди.

– Ой! – съежился он. – Это уже остров Щекотан.

Так, касаясь друг друга, они перебрали едва не всю географию, перемешивая её с основами дарвинизма, истории, лингвистики.., пока опять не вернулись к началам. А в началах не было ничего – ни географии, ни лингвистики, ни тем более дарвинизма. А были одни только Адам и Ева.

– Я твоя Катти Сарк, – выдыхала опалёнными губами Ламка, на миг прерывая бесконечно-томительный поцелуй. Катти Сарк – это короткая рубашка. На Ламке ничего не было – ни короткого, ни длинного. Но он не возражал, он только уточнял:

– Ты моя Катти Сарк по прозвищу Ламка.

... В конце концов они вспомнили и о гласных – представителях допотопной городской думы.

– Перебирая согласные, они, наконец, вспомнили и о гласных, – сказала Ламка.

Под согласными она, оказывается, подразумевала те стечения и междометия, которые вырывались из их уст, когда они теряли голову. А о гласных само собой напомнил диван. Временами безмолвный, затаённо напряжённый, он внезапно оживал и начинал судачить, роптать, возмущаться, тараторить и ликовать. Диван то рокотал какой-то одной пружиной, словно она была ребром некоего средневекового органа, то как-то беззубо шепелявил, то словно хрустел подагрическими пальцами. И Сергей с Ламкой заключили, что гласные ведут очередные дебаты. О чем? Да мало ли городских дел? – об акцизах, о пожарной конке, о горводопроводе...

– Есть корабли-призраки, – заключила, наконец, Ламка. – Пусть будут призраки на корабле.

– То бишь Ковчеге, – поправил Сергей.

* * *

Тот диван был и Ковчегом, и островом, и их главной гаванью, и ковром-самолётом. Боже мой – чем он только не становился по мановению Ламки! Она была невероятная выдумщица. Ребячество, шаловливость в ней выплескивались через

край. Сергей просто диву давался и сам упоённо вовлекался в этот головокружительный водоворот.

Они бывали и в других местах, хотя зимой и трудно сыскать уголок для свидания, это не лето, когда мать-природа милостиво расстилает зелёные ковры. Иногда выручал Филин. Один раз они сошли с ума на Ламкиной службе. Но чаще встречались здесь – среди летаргически спящей фауны. В пятницу, а то, не вытерпев, и в четверг Пакратов снимал трубку:

– Наши гласные заскучали.

– Они голосовали? – уточняла Ламка.

– Да, – убедительно рычал он. – И голосовали единоголосно.

Не просто голосовали – голосили. Голосили, аки оглашенные.

– Придётся подчиниться гласу вопиющих, – подхватывала она.

С некоторых пор Сергей завёл на службе одеяло и простыни. Хорошо, что это не армия и старшина не делает шмона. Прячась под простынями, они заговорщицки обсуждали своих соседей – привидения думских гласных.

– Мы в белом, и они в белом, – шептал Сергей.

– Думаешь, принимают за своих? – уточняла Ламка.

– Не знаю. Но сидят тихо. Только чуть шуршат...

– Губернские ведомости листают.

– За какой год?

– За тысяча девятьсот шестой.

– А может, пёрышком скрипят?

– Жалобы строчат?

– Ага. На отсутствие надлежащих условий.

– А зачем же тогда голосовали? – резонно спрашивала Ламка.

Однажды она заявила, что этот диван надо умыкнуть. Не выкупить – так умыкнуть.

– А где будут обитать чиновные души? – Сергей зашушукал, изображая привидения. – У них подагра, ноги не держат.

– Сядут на сохатого, – показала Ламка на лося. – А чтобы не упасть, ухватятся за рога.

– Там уже есть кое-кто, – неуклюже съязвил Сергей.

Ламка поняла, по лицу её пробежала тень.

– Не будем, ладно, – увела она от скользкого поворота.

Что касается своей половины, Сергей не страдал от угрызения совести, однако продолжать не стал, а предложил для гласных лосиное нутро.

– Тепло, сухо. Опять же образ почти классический. Троянский лось...

Тема животных постоянно возникала в этих разговорах. То ли потому, что любовников окружали их образы. То ли они намеренно уходили от других тем, которые неизменно приводят к прозе реалий. То ли настрой был такой и не хотелось ничего и никого впускать в этот мирок, который они, как две пичуги, слепили из подручного материала: собственных пёрышек, тонюсеньких соломинок – последней надежды утопающих, чего-то хрупкого, невесомого... Подует сквозняк, обрушится студёный ветер – все хрустнет и разлетится. А пока – вот оно...

На ум приходили несусветные фантазии. Сергей болтал напропалую, не боясь выглядеть смешным, глупым, нелепым. Ламка принимала его таким, каким он был, и Сергей давно не чувствовал себя столь лёгким, ликующим и безалаберным.

– Я мышка-норушка, – шептал он в её колени, пока не перехватывало горло.

– Ты мышка-врунишка, – задушенно смеялась она, забываюсь.

* * *

В начале февраля, когда охотуправление наконец вошло в привычный рабочий режим, шеф направил Пакратова в командировку.

Обычно Сергей отправлялся в дорогу с охоткой. Стоило получить задание, он шутиливо козырял Лукичу и тотчас заказывал билеты. Его молодой, нерастраченный ещё дух просил воли, новых встреч и свежих ощущений. Он выезжал с инспекторскими проверками практически каждый месяц. А уж когда командировка выпадала в южный куст, прямо-таки ног под собой не чувял. Ведь частью тамошних угодий заведовал не кто-нибудь, а Пал Трофимыч, хороший, задушевный мужик, с которым они с первой же встречи сблизились и сдружились.

Нынешняя командировка была именно туда – в пенаты Трофимыча. Пакратову бы радоваться – такая удача выпала да ещё в начале года! – а он всю дорогу маялся и томился. Нет, поначалу-то, когда сел в поезд, Сергея по старой памяти повело. Разом нахлынули прежние впечатления. Вспомнилось, как Трофимыч водил его по токам, показывал бобровые запруды; как они ловили стерлядку; как пёрли грибы, когда они отправлялись в лес, – и грузди, и белые, не говоря уже о волнушках и лисичках. Но чем старательнее Сергей перебирал былые эпи-

зоды, настраивая себя на предстоящую встречу, тем всё больше что-то не клеилось в его воспоминаниях. Мысли сбивались, путались, мешались. В конце концов он оставил эти попытки, признавшись себе, что нынешняя командировка для него – лишь повод. Главное заключалось в другом. Ему понадобилось остаться наедине, ему необходимо было вырваться из города, чтобы оказаться в одиночестве. Для чего? Да для того, чтобы сделать паузу, посмотреть на себя со стороны и осмыслить то, что с ним произошло.

Ему казалось, он был убеждён, что сможет это сделать. Если не объяснить самому себе, то хотя бы осмыслить. Однако чем дальше поезд отходил от областного центра, тем сумбурней, а потом монотоннее становились его мысли, пока не вылились в одну бесконечно-тягучую ноту, которую выбивали колеса вагона: «Ты куда? Ты куда? Ты куда?..» Сергеем завладело одно только желание – скорее возвратиться назад. И чтобы не рвануться к стоп-крану, он стал думать только о том, что и было предметом его душевной сумятицы.

Сергей думал о Ламке. Где она? Чем занимается? О чём думает? Вот сейчас скорее всего она в редакции – стучит на своей «Эрике» или вычитывает по телефону интервью. А вот сейчас – это уже через три-четыре часа, – наверное, дожидается дочку в коридоре музыкальной школы. А сейчас – это час спустя – они плавают в бассейне...

Сергей мог представить Ламку в самых разных местах – на улице, в театре, в сквере, в редакции, – словом, везде. За исключением одного места – её дома. И не только потому, что не бывал там. Там присутствовал её муж, а Пакратову даже в мыслях нестерпимо было соединять их.

Сергей уже знал, что муж у неё военный. Ещё на концерте, отметив четкую линию его плеча, Сергей подумал, что на нём не хватает погона. По возрасту ровесник, этот человек имел звание майора. Сергей с ходу заключил, что он карьерист. Мысль о том, что он мог заслужить досрочное звание, ему не приходила в голову. Вернее, приходила, но Сергей решительно отвергал её, упорно повторяя, что он – карьерист...

... Поезд прибыл на узловую станцию, которая одновременно была райцентром, рано утром. Встретил Пакратова сам Пал Трофимыч. Сергей издали заметил его окладистую седую бороду, которая в свете привокзальных фонарей отливала инеем. Скинув рукавицы, они поздоровались, пыхая паром, дружески потрепали друг друга за плечи.

– Ну, вот и опять в наших сузёмах, – довольно заключил старый лесовик.

– Опять, Трофимыч.., – кивнул Пакратов.

Пал Трофимыч был старше Сергея почти вдвое. Однако держались они на равных, не замечая стоящих меж ними лет. Возможно, разница в возрасте как бы перекрывалась разницей в служебном положении, хотя Пакратов ни жестом, ни словом никогда не подчеркивал этого.

– Сначала – ко мне, – садясь за руль служебного «козлика», сказал Трофимыч. – Перекусим, перекурим, а после уж – и за дела. Лады?

– Лады, – согласился Сергей.

Душа Сергея была не на месте. Незримое силовое поле всю дорогу будоражило его сердце, оно никак не могло вырваться из тех невидимых тенёт. Встреча с Трофимычем ободрила Сергея. Лицо старого лесовика, весь его вид внушали уверенность и надёжность. Захотелось укрепиться в своих ощущениях. Сергей закинул руку на сиденье водителя и всю пятерню запустил в воротник его полушубка. Ему показалось, что ладонь его напитывается незримой живительной энергией, а сердце начинает стучать ровно и спокойно, как мотор ведомой Трофимычем машины.

Усадьба Трофимыча располагалась на окраине райцентра. Она раскинулась на берегу небольшой речушки, что делила райцентр на две части. На угорце высилась просторная, хотя и одноэтажная изба, повернутая к берегу. На задворках по отдельности мостились хлев и сарай. А под угорцем у самой воды стояла банька. Вид крепенькой, ладной избушки сладким жаром отозвался в спине, Сергей аж крикнул от удовольствия. «Всё хорошо, всё путём!» – сказал он сам себе, обивая в сенях унты.

С последнего гостевания в этом доме прошло больше года. Однако видимых перемен в жильё Трофимыча, похоже, не произошло. Это Пакратов отметил как еще один знак стабильности и порядка.

Сполоснувшись с дороги, Сергей прошёл в переднюю горенку и сел за стол на привычное своё место – лицом к окнам. Занимался рассвет. Солнце на свой небесный насест ещё не взялось, но уже распустило зелёный павлиний хвост, который всё больше светлел, наливаясь жаром.

В простенке между окнами висели два портрета – хозяина и его покойной жены. Такие парадные портреты в овальных рамках на паспарту делали в ателье, переснимая зачастую с

крохотных карточек, а потом расцвечивая красками. У отца Пакратова в альбоме хранились хорошие снимки – и порознь, и вместе с матерью. А вот такого любовно созданного парного портрета на стене не висело. Всё было – и просторный дом в средней полосе, куда он переселился с Севера, выйдя на пенсию – даже просторнее, чем у Трофимыча, – и сад, и пруд, и корова. А портрета жены, покойной мамы Сергей, в простенке не было. Ни с собой рядом, ни поодинке. Потому что в доме том была новая жена. Сергей побывал у них два года назад, да не прожил там и трёх дней, почуяв не то чтобы отчуждённость, а какую-то свою неуместность.

Нежданное воспоминание обожгло, сердце опять всполошилось, зачастило. Не отдавая себе отчёта, Сергей снова засуетился, заспешил и взвинтил такой темп, что привёл Трофимыча в растерянность и недоумение. В конторе, куда они, по воле командированного, примчались, по сути, не перекусив, Пакратов стал перебирать документацию. Трофимыч, по своей привычке, всё представлял основательно, норовил растолковать, показать поясняющие ту или иную цифру сводки и графики. Но Пакратов никак не мог сосредоточиться и, когда Трофимыч тянулся к нему с очередной бумажкой, отмахивался или кивал, дескать, верю, верю...

Командировка Пакратова была рядовой и во многом рутинной. Что требовалось на сей раз выполнить досконально – так это съездить в Векшинское урочище. Там сформировался новый заказник, по осени были построены контора, подворье, кораль. Шеф велел это всё зафотографировать и описать, поскольку в конце квартала планировал ехать с отчётом в Москву.

Трофимыч такую спешку не одобрил. Он предложил поездку в Векшу отложить до завтра – дорога неблизкая, лучше выехать спозаранку. Но Пакратов уже загорелся.

– Как знаешь, – сухо обронил Трофимыч и бросил на стол ключи от «козлика». Пакратов покачал головой – машина его не устраивала. До Векшинского урочища на «козлике» можно было добраться лишь вкруговую – это поболее восьмидесяти километров.

– «Бураном» и напрямки! – решил он.

– Как знаешь, – опять обронил Трофимыч и кликнул своего зама – молодого мужика Вениамина.

Напрямик у них с Вениамином, конечно, не получилось. Пришлось огибать свежие, затянувшие луговины перелески, прорубаться в иных местах через квартальные просеки. Однако, несмотря на препятствия, дорогу они сократили почти вдвое.

В одном месте снегоход вырुлил на попутный просёлочек. Кое-где колея была запятнана конским навозом. Пакратов огляделся, высунувшись из-за спины водителя. Дорога эта была ему знакома. Она соединяла два рядом стоящих села, здесь позапрошлым летом Сергей угодил на престольный праздник...

Сергей брёл по этому просёлку из села в село, вздымая дорожную пыль, потому что был слегка выпивши. На самом узком месте в гуще перелеска ему повстречалась девчонка. Крепенькая, уже созревшая, лет шестнадцати. «Куда путь держишь, красавица? – заступил он дорогу, пьяновато ухмыляясь. – Не боишься одна по лесу?..» – «Нет», – тихо ответила она, зыря глазами. Застенчивая, личиком не очень, но быстроглазая. «А ну как серый волк повстречается?..» – он произнёс это театрально-замогильным голосом, ухватил её за руку, шутя привлёк к себе, куражась, поцеловал, потом отпустил и, хохоча, но не оглядываясь, пошёл прочь.

Давнее воспоминание обожгло стыдом. Как он теперь казнил за ту выходку. Что стало с той девчонкой? А ну как он что-то нарушил в её судьбе? Жила себе и жила, а тут подвалил взрослый жиган и навёл порчу. Мало ли как бывает. Поглядывал, допустим, на неё ровесник – хороший, смирный паренёк. А увидел однажды смятение в глазах подружки – и тоже оторопел. Нет, насчёт своих мужских чар Сергей не обольщался. Но возраст! Это ведь такие неустойчивые годы, пятнадцать-семнадцать лет. Что стало с той девчонкой? Как повернулось? А ну, как наперекосяк всё пошло? «Да преувеличиваешь ты, – пробовал он себя урезонить. – Теперь и в деревне они другие – смелые да разбитные». Урезонивал, отмахивался, словно не память, а назойливого слепня отгонял. А сердце-то ныло, обжигало...

... Назад в райцентр Вениамин гнал «Буран» теми же путями. Они опять вылетели на тот самый просёлочек. За несколько часов его замело, даже колеи заровняло. Но Сергей узнал это место. А узнав, опять тягуче вздохнул. Добро, если память той девчонки замело, как эту дорогу, а коли нет!

Снегоход на выбоинах и рытвинах потряхивало, ведущую лыжу при этом заносило, «Буран» мотало из стороны в сторону. Должно быть, и память будет теперь вот так же донимать и потряхивать.

В райцентр они вернулись уже в потёмках. Умаявшись от дорожной тряски и мельтешни, Пакратов осоловел. Трофимыч, уже не спрашивая его, едва не силком потянул в баню.

Банька нависала над самой водой, так что после парилки можно было прыгать в прорубь. Но сегодня на эти молодецкие игрища у Сергея не осталось никаких сил. Он добрался до полка, задохнувшись от жара, и отдался на милость Трофимыча.

Трофимыч метался по бане чёртом. Это впечатление подчеркивало его облачение – кожаный фартук и драная кожаная ушанка. Ушанка, нахлобученная на лысину, да сивая бородища закрывали почти всё лицо. Открытыми оставались только ядрёный с горбинкой нос и щёлки глаз. Плеснув на каменку крутого кипятка, сдобренного солодовым пивком, Трофимыч принялся охаживать Сергея по бокам – да как! Сначала – берёзовым венчиком, распаренным до майской духовитости, он называл его шёлковым. Потом – пихтовым, до предела размягчённым и исходящим масляным соком. А после – «для затирки» – можжевеловым. Остатками сознания Сергей отмечал, что охаживал его Трофимыч на сей раз круче, чем обычно, – должно быть, не мог сдержать своей обиды. Но он, грешный, не противился, принимая эту экзекуцию как искупление.

Назавтра Пакратов не чаял подняться – до того стонали все косточки, когда пластом рухнул на кровать. Ему не хотелось ни есть, ни пить, а только спать, спать и спать... Но за ночь произошло что-то удивительное. словно неведомая пружина подняла его ни свет ни заря, и он, махнув на все дела, тотчас засоби-рался в дорогу.

– Куда? – оторопел Трофимыч.

– Домой, – ответил Пакратов.

Трофимыч поначалу изумился, не в силах взять в толк, что с Сергеем происходит, – ведь командировка была рассчитана на неделю, – а потом и обиделся. Его горбатый нос ещё больше обвис, а из густенной бороды, как сыроежки из мха, вздулись губы.

– Трофимыч! – спохватился Сергей. – Миленький! Прости меня! Надо!

– Баба, што ли? – в лоб пробурчал старый лесовик, видать, что-то различив на лице гостя.

– Женщина, – признался Сергей. – Хочешь привезу? – это вырвалось само собой. – На смотрины?

– Валяй, – смилостивился Трофимыч, и Сергей, чтобы совсем уж загладить вину, сердечно обнял старого лесовика...

... Пакратов летел назад, как на крыльях. Да почему «как» – именно на крыльях. Поезд его не устраивал. Махнул на «козлик» в соседний район, где был аэропорт, и уговорил летунов взять его на транспортный «кукурузник». Шаг был рискованный.

Намёрзся, валяясь среди тюков да ящиков, – жуть. Единственно, что согревало, – мысль о Ламке. Ни о ком другом и ни о чём другом он не мог просто думать. Всё его существо устремлялось вперёд и, казалось, несло, опережая «кукурузник». Прилетели в областной центр в пятом часу. Сергей с ходу кинулся к телефонному аппарату. Всё трепетало в нём, когда он судорожно набирал номер. И что же? Он просто ушам своим не поверил: Ламки не оказалось. Не оказалось не просто на месте, а в городе, потому что буквально сегодня она уехала в командировку. Так сообщил ему слегка раздражённый женский голос на том конце провода. И эта неожиданная информация, и этот привычно неприятный голос просто подкосили Сергея. Он сел на ступени лестницы, возле которой находился автомат, и, чтобы не замычать, стиснул пальцами горло...

... Ламка отправилась в самый глухой район области. Там было полно колоний и зон. Зоны тянулись одна за другой вдоль железной дороги. А где зоны – там и беглецы, хотя до весны – «зеленого прокурора» – казалось ещё далеко.

Сердце Сергея было не на месте. Все эти дни он маялся, переживал и то и дело спускался к Филе.

Ему почему-то всё время надо было видеть бабочек.

Как-то днём Ламка вышла на связь. Звонила она из редакции районной газеты, к тому же, судя по тону, – в присутствии кого-то из сотрудников. Разговор длился не больше минуты. Однако Сергею и этого хватило, чтобы губы его целый день растягивались в блаженно-дурацкой улыбке.

Дни ожидания тянулись медленно. Сергея не покидало состояние тревоги. Однако иногда эти серые полосы перемежались всплесками нежности, и он терялся, не зная, куда эту нежность девать. В такие минуты Сергей улыбался и говорил комплименты всем особам охотуправления. Он без устали слушал излияния Маруси Пителиной о её пернатом детёныше. Для Таисии Тимофеевны он добывал индийский чай, меняя на него бездымный порох или дробь-нулёвку. Нужник-Калиныч в такие часы находил в нём интересного и правильного собеседника. А Филе он проигрывал одну за другой шахматные партии, но при этом так яростно рычал и делал такое убитое лицо, что, похоже, снимал все нелепые подозрения.

Но больше всего этой обильно вырабатываемой нежности, разумеется, доставалось Алёшке. Сергей водил его в садик и забирал из садика. Все вечера они читали сказки, чего-нибудь

рисовали, клеили и выпиливали. Они даже закончили собирать тот самый пластиковый клипер и провели в ванне испытания, однако, не выдержав собственного веса, парусник совершил оверкиль и пошёл на дно.

В очередной вечер Сергей малость припоздал. Пришёл в садик, когда всех ребятшек уже разобрали. Оставались только сынишка и светленькая остроносенькая девочка. Алёшка бросился к шкафчику. Сергей стал ему помогать. Но тут обратил внимание на ту самую девочку, которая, пригорюнившись, сидела в дальнем уголке.

– А она как же? – показал Пакратов глазами.

– За ней долго не приходят, – покачал головкой Алёшка.

– Давай подождём. А то ей грустно будет.

– Давай, – охотно согласился Алёшка, он ещё не успел разуть сандалии.

– На, угости, – Сергей протянул сынишке пару конфет.

Он схватил сладости и побежал к девочке. Тут появилась воспитательница.

– Опять за Парфёновой опаздывают. Прямо беда. – Она поминутно поглядывала на свои часики. – Что делать? Что делать?

– А в чем дело? – осведомился Пакратов.

– В семь... – воспитательница замялась, – у меня стоматолог. А тут ещё ехать...

Лицо её было озабочено, больше того – перекошено не то болью, не то гневом. Пакратов выразил сочувствие. Предложил подождать.

– Вы бегите. Мы побудем с девочкой...

– Правда? – обрадовалась воспитательница и кинулась к шкафу. Она стала собираться, время от времени все ещё выглядывая в окно и оценивая Пакратова взглядом. Сергей добросовестно играл с детьми, создавая образ честного, порядочного человека. Наконец, воспитательница упорхнула. Они остались втроем. И... засиделись. За девочкой никто не приходил. Миновал час. Пошёл девятый. Сторожиха-мямля ничего не посоветовала, перенимать эстафету дежурства не согласилась.

– Мои только территория да материальные ценности...

Пришлось забирать девочку с собой. Ну, а чтобы не обрубать концы, Пакратов напоследок оставил адрес и телефон.

Короче, получилось хуже некуда. Уже часов в десять, когда девочку положили спать, прилетели воспитательница и мамаша. Мамаша была под изрядным градусом и в выражениях не стес-

нялась. Воспитательница краснела, бледнела и извинялась, но не перед Пакратовым, а перед этой разбушевавшейся особой.

– Как зуб? – спросил её Сергей.

– Какой зуб? – выпалила она и смешалась: – Ничего! Все хорошо!

Жена, утомлённая многочисленными всплесками эмоций, ушла спать. А Пакратов с Алёшкой ещё долго маялись.

– Па, – сказал, засыпая, Алёшка, – а хорошо бы у нас сестричка была...

Он так и сказал: у нас. Сергей погладил его по головке и сказал: «Спи». У него, старшего, сестрички нет и уже не будет. А у сынишки?

* * *

Командировка Пакратова наложилась на Ламкину командировку. В итоге они не виделись восемь дней. Дни ожидания тянулись подчас, как похоронная процессия. Сергей порой физически ощущал, как вяло и понуро тянутся на кладбище времени эти минуты и часы. И весь извёлся, ожидая её.

О прибытии Ламки известил коллега из районной инспекции. Всё было исполнено в лучших традициях советского детектива. Только вместо «славянского шкафа» Ламка выбрала паролем «материалы о развитии районной организации юных натуралистов».

Для приёма указанных материалов Сергей и приехал на вокзал. Поезд прибывал в десятом часу вечера. Едва Ламка ступила на перрон, он подхватил её под руку и увлёк на такси. Всю дорогу они молчали, только чувствовали локтями, что меж ними как будто пробегают искры. Машину Сергей оставил за квартал до «думского» особняка. По задворкам они прошли к торцу здания, и в потёмках он стал нашаривать замочную скважину. Как и всякое учреждение, это напичканное конторами здание было снабжено охранной сигнализацией. В этот час его уже приняла под свою опеку вневедомственная охрана. Любое поползновение сюда было бы зафиксировано на пульте. Однако Сергей, ожидая Ламку, не только считал дни и убивал время, но кое-что и предпринял. Филя, мастер на все руки, нарисовал простейшую схему прерывателя, и Сергей, не без его золотых рук, этот «жучок» соорудил. «Ну, Серёга, – сокрушался Филя, делая глаза такими же круглыми, как и очки, – доведёт тебя эта баба. Помяни моё слово, ёшкарне!» И при этом загибал пальцы,

перечисляя, какие статьи уголовного кодекса по Пакратову плачут. Сознал ли Сергей, отдавал ли себе отчёт, что совершает противоправное действие? В тот момент он об этом просто не думал. Всё его существо, истомлённое ожиданием встречи, было нацелено лишь на одно.

Взлом казённой палаты прошёл успешно. Поддельный ключ был уже проверен. Двери открылись без скрипа. Сигнальная лампочка, горевшая в окне второго этажа, даже не мигнула.

Держа Ламку под руку, Сергей ступил в темноту и, уже закрыв двери изнутри, включил фонарик. Все в нём клокотало. Он задышался. Но не столько от страха или от холода, сколько от долгого ожидания. Ламка тоже дрожала. Когда они соприкасались локтями, меж ними явственно пробежали разряды, а фонарик в эти мгновения вспыхивал таким ослепительным светом, что Сергей выключил его, остерегаясь, что отблески заметят с улицы. Но странное дело – даже и выключенный, он не гас, а продолжал гореть, пульсируя в такт сердцебиению.

Дальнейшее Пакратов помнил плохо. Не помнил, как шарил в тайничке, где лежал ключ от анфилады. Не помнил, как они дотянулись до Ковчега, начиная скидывать свои одёжки от самых дверей. А уж что было потом – и подавно. Ими овладело безумие...

... Очнулся Пакратов от какого-то звука. Где-то далеко звякнул не то засов, не то щеколда. Он с трудом разлепил глаза. Светало. Повернув к законному блику циферблат, Сергей обнаружил, что близится начало рабочего дня и вот-вот потянутся на места сотрудники. Голосом петушка Маруси Пителиной он протрубил подъём. Ламка оценила ситуацию без объяснений. Они вскочили и, заполошно всхохатывая, принялись собирать и по возможности надевать свои раскиданные где попало одёжки. Больше всего их воодушевлял светлый образ кристально чистого Калиныча. Если бы Нужник увидел, до какой степени пала «нонешняя молодежь», он, наверное, брякнулся бы без чувств. А разве можно было допустить, чтобы главный охотовед области вышел из строя!..

III

Первые сроки были сроками утления. Они, словно истомлённые путники, пришли к долгожданному ручью и всё пили и пили, не в силах утолить жажду. И только потом, не сразу, стали

различать вкус воды, её прохладу, её ребяческую ласковость и одновременно разноречивость её струй.

Однажды Ламка сказала:

– Взрослые не помнят, что были детьми. Мне кажется, половина и не была детьми, став сразу взрослыми.

– И даже матери того не заметили? – чуть иронично возразил Сергей.

– Матери хотели того и торопили... Быстрее освободиться от пелёнок, ползунков, потом от учебников, скорее поставить на ноги... Как это у птиц?.. – Она знала, как это у птиц, но ждала, видимо, отклика.

– На крыло...

– Вот! На крыло. А крыл-то как раз и лишают, не научив летать...

– Я один из таких? – в лоб спросил Сергей.–Бескрылых?

– Ты помнишь своё детство, – ответила она. А потом, уже много позже как бы уточнила: – Знаешь, что меня подкупило? Ты услышал что-то... Помнишь, когда сказал про море, которое тихо накатывается на песок? А потом что-то услышал и добавил: «Хотя...» Вот это «хотя» всё и решило. Понимаешь? Ты хорошо слышишь, а главное – слушаешь...

Сергей не возражал. Кому охота отрицать то, что поднимает тебя в собственных глазах. Однако мысленно не то чтобы возражал, а как бы уточнял, делал поправки.

Ту историю с косачом он не завершил, не досказав её ни Филе, ни Ламке. И не то чтобы утаил, замолчал – просто надобности в том не было. Она заканчивалась как заканчивалась. Ведь точка не обязательно ставится в конце. Концовку можно сделать и раньше. Это он уже усвоил, кропая свои опусы.

Когда Серёжка трясся над поверженной птицей – сначала в восторге, а потом в тихом ужасе, – раздался окрик. Над ним, пацанёнком, обессиленным и рухнувшим на колени, возник дядька Венька, отцов компаньон и приятель. «Что ты орёшь, етито-вою-мать! – свистящим шёпотом запоздало зашипел он, вращая белками. – Всю дичину распугаешь!» А потом остервенело пнул убитого косача и добавил: «Что ты сопли распустил! Какой же ты мужик после этого!»

То есть выходило так: он признавал, готов был признать в нём, мальце, мужика, а он, Серёжка, своими «мерихлюндиями» не оправдал этих ожиданий. Потом-то, повзрослев, Пакратов разобрался в его реакции. Раздражение дядьки Веньки шло не от разочарования по поводу него, мальчика, а от

банальной зависти. Как же! – не он, взрослый мужик и промысловик, добыл матёрую птицу, а какой-то лопухий пацанёнок. Но тогда, в детстве Пакратов всё воспринимал буквально. Это «какой же ты мужик!..» до того запало ему в душу, что он места себе не находил. Именно тогда – он это теперь понимал – и окончилось детство. Всю дальнейшую жизнь Пакратов выдавливал из себя всё немужицкое, то есть сентиментальное, романтическое, которое, видать, досталось ему от матери. Он мечтал о странствиях, о море, о парусах, а выбрал, вопреки себе, земную «мужицкую» профессию – пошёл в сельхозинститут и стал охотоведом. Вот и выходило, что он, хотя и слушал и слышал, сам же и перечил тому, что усваивал. А стало быть, не ему крылья подрезали, он сам их ломал, лишая себя полётности.

Такие вот мысли приходили Сергею в голову, когда он слушал Ламку. Прежде он не особенно задумывался над своей жизнью, над судьбой отца, матери. А тут вдруг стал перебирать старые фотографии, письма, перелистал пару собственных школьных тетрадок, словно пытался найти что-то. Этим неожиданным интересом к прошлому Сергей поделился с Ламкой, правда, мимоходом, между прочим, как говорят о пустяках, стесняясь придать им какое-то значение. Но Ламка не только поняла, но и успокоила его. Правда, поначалу она пошутила дескать, эти «шаги следопыта» – ни больше ни меньше – как признак пробуждения дремавшей доселе души. Потом лицо её сделалось серьёзным, даже сосредоточенным. Оказалось, что у неё тоже подобное было. Она тоже до какого-то времени жила рассудком, в лучшем случае инстинктами, пока не обожглась. А обожглась, когда вышла замуж.

Отец у Ламки был военный. Она с детства боготворила его. Это обстоятельство определило и семейный выбор. Но оказалось, что отец-военный и муж-военный – это не одно и то же.

– Нет, он хороший, – спохватившись, добавила Ламка. – Порядочный... Во всяком случае не солдафон... И дочку вовремя по головке погладит.

Разговоров о своих половинах они с Ламкой, по негласному уговору, избегали и, если всё же неосторожно касались, то тут же благоразумно обрывали их.

– Ты обидчивый? – спросила как-то Ламка.

– Не знаю, – ответил Сергей. – Это зависит от ситуации и того, кто...

– Например...

– Например?.. – Он вспомнил давний случай. – Сидели компанией в киношке. Смотрели английский фильм «Кромвель». Я обнаружил, что внешне мы схожи с главным героем. Я на него похож, или он на меня – не суть есть. Характер другой – крутой, дикий. Да и какие там в средневековые или чуть позже были нравы! Но внешне, как близнецы... А особа, с которой у нас нечто намечалось, то ли не замечая того сходства, то ли, наоборот, видя, бросила про него что-то ехидное-ехидное...

Сергей не стал объяснять Ламке, что стало с «несносной обидчицей» – понадобилось бы что-то раскрывать, уточнять, а то и оправдываться. Ведь особой той была «тонкая натура» – его жена.

О своих половинах они старались не говорить. Зато о детях рассуждали много и охотно. Тем более что детство было главной темой Ламкиных публикаций.

«Существует расхожее выражение «Дети – цветы жизни», – прочитал Сергей в одном из её очерков. – Лично мне оно не нравится. Цветы – это красиво, но применительно к нашей природе быстротечно. Если уж сравнивать детей с флорой, то лучше обратиться к деревьям. Дети – маленькие деревья, растущие среди леса, образуемого взрослыми».

Сергей на это пошутил:

– Вот бы и называть так: мальчик по имени Клён, девочка по имени Ольха.

– А что! – откликнулась Ламка. – В древности, в язычестве, так ведь и называли...

Из этого у них возникла игра: что ещё годится на имена.

– А всё, – великодушно разрешила Ламка. В ход пошли птицы, звери, рыбы: мальчик Чибис, девочка Ряпушка. Вспомнив, что многое из этого ряда и так применяется в нарицательном смысле – премудрый Пескарь, например, – они обратились к травам и цветам. Потом перебрали россыпи полезных ископаемых. А ещё Ламке пришла идея использовать название месяцев.

– Ага, господин по имени Февраль, – съязвил Сергей, сделав упор на второй части.

– А если мальчик по имени Январь? – отозвалась Ламка.

Однажды они с нею шли по набережной. Им в тот день оказалось по пути – она направлялась за дочкой в музыкальную школу, а он – за сынишкой в садик, чтобы отвести его к зубному врачу. Уже смеркалось, к тому же набережная оказалась безлюдна. Они шли в обнимку и время от времени целовались.

Вдалеке кто-то показался. Они разомкнули руки и приняли чинный вид. Судя по росту, приближался мальчик. Так они заключили, обменявшись догадками. Однако когда прохожий поравнялся с ними, они поняли, что ошиблись. Это был взрослый, даже уже пожилой человек, хотя и маленького роста. На нём ладно сидело драповое пальтецо с каракулевым воротничком, а на голове высилась каракулевая – пирожком – папаха. Но самую примечательную часть его облика представляли руки. Он хлопал ими по бокам в такт каждому шагу и как две капли воды походил на пингвина.

Удалившись от человека на порядочное расстояние, Сергей с Ламкой прыснули – до того этот субъект был занятный, потом устыдились своей бестактности и опять прыснули.

– Его в детстве сильно пеленали, – отсмеявшись, заключила Ламка. – Вот ручки при ходьбе и не действуют. Но я думаю, не только ручки... Те пелёнки наверняка повлияли и на рост. А может, – она чуть помедлила – и душу деформировали...

– А мне кажется, он счастлив, – возразил Сергей. – Вот как он вышагивает – важно да степенно. Доволен собой.

– Возможно, – улыбнулась Ламка и, как нередко бывало, завершила всё красивым пируэтом. – Но куколка почему-то не сидит вечно в коконе, хотя там тепло и уютно. Иначе в мире никто бы не видел бабочек – ни капустниц, ни тем более махаонов!

У неё была какая-то иная природа, у Ламки. Не такая, как у других. Сергей ощущал это всем своим существом. И особенно по утрам, если они оказывались вместе. Рядом с ней ему снились совершенно поразительные сны.

Однажды приснились два огромных облака, высоко стоящих в небе, как бывает летом в пору зноя. Они были похожи на бокалы. И он даже услышал звон, когда они сомкнулись и брызнули не то вином, не то дождем.

А ещё ему снился дом, который был поставлен на крышу, точно на киль. Он покачивался на волнах, люди в нём плыли вниз головой. Но труба у дома-парохода была сверху, как положено, и дым выходил кольцами.

Самый горький сон был про воздушного змея. Этот змей оказался очень похож на того, которого они смастерили с другом Гешкой. Только на взаправдашнем был нарисован Барсик, кот. А на том, что привиделся во сне, Сергей увидел не то воробья, не то синичку. И ещё обнаружилась одна разница. Во сне он не различил лиц пацанов, которые собирались со всей окраины, когда проводились испытания. А конец, что в жизни, что во сне,

оказался один. Кто-то сшиб того воздушного змея, шарахнув из кустов дуплетом картечи.

А самый долгий и необычайный сон Сергею приснился в ту ночь, когда он совершил дерзкое, но, по счастью, не замеченное никем преступление. Ему виделись какие-то далёкие острова, изрезанные шхерами берега. Стояло высокое солнце. Доносилось хлопанье парусов. Он различал лица людей. Тут были мужчины и женщины. Облачённые в лёгкие струящиеся одежды, они, казалось, парили над зыбучими водами. Сергей оглядывался, всматривался в лица. Ламки среди них не находил. Но по жестам и мимике окружающих он угадывал её присутствие, словно облик Ламки отражался в них, как в зеркалах. И по всему этому, что ему открывалось, он не то чтобы догадался, а получил некий знак, что именно она, Ламка, и создаёт всю эту струистость и духоподъемность. Ему стало удивительно легко. И тогда, взмахнув руками, он поймал поток воздуха и... полетел.

* * *

– Есть путёвки в двухдневный дом отдыха, – сообщила Ламка в конце февраля. – Едем?

– О чём речь! – отозвался Сергей.

Поехали вчетвером: он с Алёшой и она с дочуркой. Естественно, порознь, даже разными автобусными рейсами. Уже там, на месте, встретились и по-соседски познакомились.

Была пятница. Едва они расположились – пригласили ужинать. В столовой стоял полумрак, уютно горели свечи. Однако компания чувствовала себя немного скованно. Даже Сергей с Ламкой, вынужденно повторяя начало знакомства, испытывали неловкость. А детишки были смирные и чопорные, точно старички. Алёшка исподлобья поглядывал на Ксюшу, а Ксюша чуть свысока в прямом и переносном смысле – на Алёшку.

Вечер растаял быстро, как свечи. Путешественники поужинали, успели ещё прогуляться вокруг базы, осмотрев ближние окрестности, подсвеченные фонарями, как детям пришла пора спать. Поднялись на этаж, пожелав друг другу спокойной ночи, разошлись по номерам: Сергей – с Алёшкой, Ламка – с Ксюшей.

Ламка пришла к Сергею через полчаса:

– Моя не спит.

– Досадно. – Он кивнул на спящего Алёшку. – А моего сморило.

Обняв Ламку, он увлёк её на кровать. Однако присутствие беспокойно ворочавшегося Алёшки да мысль о Ксюше, дождавшейся маму, их сковывала. Оставив на подушке запах своих волос, Ламка вскоре ушла...

... Субботнее утро выдалось тихое и солнечное. Повсюду искрился снег. Синие тени живописно подчёркивали все взгорки и лощины.

– Айда кататься! – предложил Сергей, когда вся компания собралась за завтраком. Ксюша захлопала в ладоши. Алёшка закричал «Ура». Дети, похоже, уже одолели вчерашнюю скованность. Сергей перевёл глаза на Ламку.

– Айда! – улыбнулась она.

– Тогда внизу через четверть часа, – добавил Сергей.

– Через полчаса..., – уточнила Ламка.

Пока мама с дочкой наряжались, отец с сынишкой наведались в пункт проката. Для себя и Ламки Сергей выбрал по паре лыж, а для детей предложили санки.

– Вот эти, – показал Алёшка на санки с рулевым управлением. – Я видел такие. Они называются «Чук и Гек».

На Алёшке был зимний коричневого цвета комбинезончик. Он походил в нём на медвежонка. Сергей был облачён в тёмно-синий спортивный костюм и синюю с белой полоской вязаную шапочку. Оглядев друг друга, они с сынишкой заключили, что выглядят неплохо. Но когда появились их дамы, они просто рты открыли. Ксюша была в голубом комбинезончике и белой пушистой шапочке. А на Ламке был ослепительно белый свитер и синие, облегающие её стройные ноги спортивные брюки. Слов у Сергей не нашлось. Он лишь украдкой показал ей большой палец.

Дом отдыха стоял в излучине реки. Поблизости оказалось множество откосов. Компания выбрала не очень крутой склон, где к тому же было безлюдно. Дети тотчас же сели на санки – Алёшка за руль, Ксюша у него за спиной – и, повизгивая, понеслись вниз. Сергей с Ламкой замерли, во все глаза следя за их спуском. Внизу Алёшка, видать, не справился с управлением, санки завалились на бок. До родителей донесся весёлый залиvistый смех. Облегчённо вздохнув, Сергей с Ламкой тоже ринулись вниз.

Резвились все на склоне до полудня. Детвора вошла в раж и уже каталась не только на санках, но и кубарем друг на дружке. Глядя на эти кульбиты, Сергей с Ламкой от души хохотали и украдкой целовались.

Потом Пакратов-старший собрал всю компанию на пирожки.

– Откуда? – наперебой расспрашивали дети. Даже Ламка удивилась. А когда распробовали да обнаружили, что они тёплые, все просто глаза вытаращили. Сергей держал пирожки за пазухой, завернув их в специальный термический пакет – они сохранились такими, какими он взял их на кухне. Однако охотничьей тайны Сергей никому не выдал.

– Лисичка принесла, – не моргнув глазом, слукавил он.

– Лисичка? – вскинулся Алёшка.

– Когда? Где? – чуть недоверчиво переспросила Ксюша.

– А вот там, – Сергей махнул рукой в сторону леска.

Дети немедленно побежали к опушке, забыв про санки и, кажется, про родителей. Сергей с Ламкой переглянулись и быстро поцеловались.

На опушке перелеска оказалось множество разных следов.

– Вот этот? Этот? – тыкали дети пальцами, наперебой поминая лисичку. Сергей подошёл ближе.

– Не-е, это белочка, – пояснил он. – Следы задних лапок впереди и в стороне от передних. Видите? Она, должно быть, спрыгнула с этой осины. – Он тронул сероватый заиндевелый ствол. – Корм ищет.

– А разве она не в дупле его спрятала? – отозвалась Ксюша. – Разве не знает, где?

Сергей стал объяснять, что животные не всегда помнят свои тайники и закрома. Даже люди подчас забывают, куда что кладут, а уж звери да птицы и подавно.

Возле заваленного снегом стожка они обнаружили следы горносталя – коготки хорошо виднелись на плотном насте.

– Наверное, охотился на мышек-полёвок, – предположил Сергей.

– А это? А это? – Алёшка увидел свежую строчку.

– Это заяц-беляк, – определил Сергей. – Две лапки впереди – это задние. Они сильнее. Видишь, и след крупнее. А задний следок, наоборот, от передних лапок. Расстояние между ними невелико. Значит, здесь он неторопливо бежал, опасности не было.

Дружной цепочкой – дети впереди, Сергей с Ламкой позади – вся их компания двинулась по заячьему следу. След петлял, зайчишка метался из стороны в сторону, должно быть, готовился к залёжке. На очередном повороте след удлинился. На петле его пересёк другой – более крупный и вкрадчивый.

– Это лиса, – пояснил Сергей.

Дети вопрошающе обернулись. Он понял.

– Это не наша – другая. Из другого семейства. Зайчик её учуял и припустил. Вон как запетлял, путая следы.

– А это? – вдруг вскрикнула Ксюша, с неподдельным изумлением схватив Пакратова-старшего за локоть. Она тыкала пальчиком в сторону довольно глубокой воронки, которая выделялась на совершенно нетронутом снегу. Сергей присмотрелся. По краям воронки виднелись характерные полосы – это были отпечатки крыльев. Скорее всего, следы эти оставила ворона, спланировавшая на полевую мышку. Но Сергей не стал вдаваться в объяснения. Он скорчил устрашающую гримасу и утробным голосом возвестил:

– О-о! Это коготь дракона. Он оставил этот след, когда вылетел поохотиться на симпатичных маленьких девочек.

Ксюша ойкнула, втянула голову в плечи, но по лукавым искоркам, вспыхнувшим в глазёнках, он догадался, что она приняла его игру. А Алёшка отнесся к этому ревниво.

– Па, – потянул он отца в сторону и, не зная, на что перевести его внимание, ткнул в первую же попавшуюся на глаза горку снега.

– Это, – Сергей заметил ещё несколько похожих горок. – Это всё куропатки оставили.

До Сергея донёсся голос. Он не сразу смекнул чей. Обернулся. Глаза Ламки смеялись. А голос она душила, отчего смех прерывался каким-то по-птичьи счастливым клёкотом. Как тут было не отозваться!

– Это они, белые, выныривали из-под снега, являя белому свету свою упругую прелесть... – так вот велеречиво изрёк Сергей. Глаза же свои при этом отвёл, потому что остерегался не совладать с собою. Да и Ламка, глядя на него, на глазах у детей могла понаделать счастливых, но не понятных им глупостей. И чтобы окончательно отвести обоих от опасной черты, Сергей принялся объяснять Алёшке и Ксюше птичьи повадки.

– Видите, какие следы широкие. Будто и не птичьи. Правда? Это потому, что на зиму куропатки обувают сапожки.

– Сапожки? – удивилась Ксюша.

– Да, – кивнул Сергей. – Из перьев. Ведь лапкам на снегу холодно... А в мае, когда снег сходит, они эти сапожки разувает...

Он еще долго объяснял детям азы орнитологии, биологии зверей и птиц, пока не пришла пора отправляться на обед. Шли парами: впереди дети, следом они с Ламкой.

– А Алёшка-то, Алёшка! – кивал Сергей. Алёшка оказался кавалером. Конец пути вёз Ксюшу на санках.

– Хороший пример тоже заразителен, – поощрила Сергея Ламка.

После обеда погода стала портиться. Солнышко скрылось, занялась позёмка, а к вечеру разыгралась нешуточная метель.

Остаток дня компания провела под крышей. Смотрели в кинозале мультфильмы. Играли в настольный футбол. Не спеша поужинали. А потом ушли к себе и устроили чаепитие с конфетами и сладостями.

За окном завывал ветер, а в номере было тепло и уютно. Дети малость приморились, но спать не соглашались.

– Дядя Серёжа, – попросила Ксюша, – расскажите ещё чего-нибудь... Пожалуйста.

– О чём? – улыбнулся Пакратов. Вчера ещё эта девочка глядела на него настороженно и почти подозрительно. А сегодня тянулась и доверчиво заглядывала в глаза. Сергей не обольщался на свой счет – новый человек всегда любопытен. Однако вывод сделал в свою пользу: видать, у папы-майора руки-то не доходят, чтобы приголубить дочурку.

– О чём хотите, – сказала Ксюша, повторив просьбу.

– Ну что ж, – отозвался Сергей и, решив приблизить час отбоя, стал рассказывать про лесную соню, мышку с длинным пушистым хвостиком. Рассказал, как она выглядит, как питается. Но когда завёл про зимовку и сказал, что лесная соня нередко поселяется в чужих гнёздах, сбился и умолк.

Ламка сидела в кресле возле окна. Она была не то рассеяна, не то задумчива.

– Пусть мама расскажет, – шепнул Пакратов. – Попроси.

Просить Ламку не понадобилось – она услышала с первого раза. Посмотрев на Сергея, она отхлебнула из бокала сухого вина, потом кивнула Ксюше и, отвернувшись к окну, заговорила:

– Жил был Ветер, и была у него жена – простая русоволосая женщина. Ветер часто улетал, носился над лесами и долами, взмывал на высоченные вершины и опускался в глубокие ущелья. В поисках чего-нибудь неведомого он обследовал все земные уголки. Потом усталый возвращался домой, выпивал кувшин молока и затихал, склонив голову на колени жены. Жена вынимала гребень и принималась расчёсывать его спутанные волосы. А когда муж засыпал, латала его драный дорожный плащ. Наступал рассвет, и Ветер снова улетал в неведомые дали...

Алёшка задремал. Но Сергей с Ксюшей слушали Ламку за- таив дыхание и ловя каждое слово.

– Так продолжалось долго – всю жизнь. Но вот однажды Ве- тер улетел и назад не вернулся. Миновал день, прошёл другой, окончился третий... Каждый вечер женщина выходила на крыль- цо и ждала мужа. Она до потёмок глядела в закатную сторону. На небе загорались звёзды, и всё явственнее проступал Млеч- ный Путь...

Ламка сделала глоток.

– В тот вечер, как всегда, женщина стояла на крыльце. С Млечного Пути брызнула звёздочка. Женщина проследила её коротенькую вспышку и вернулась в дом. На душе у неё было беспокойно. Сев у камелька, она принялась за пряжу, а сама всё прислушивалась. Неожиданно донёсся всхлип. Он шёл откуда-то издалека. Так ей показалось. Она замерла и сидела не шелох- нувшись. Звук повторился. Только это был уже не всхлип, а жа- лобный стон. Женщина обвела глазами все углы. Стон доносился из печной трубы. Женщина встрепелась, бросилась на улицу и запрокинула голову. Над печной трубой тревожно метался сла- бый дымок, очертанием повторяя блистающий Млечный Путь. «Вот ты где!» – грустно прошептала женщина. Она всё поняла. Её муж Ветер умчался за земные пределы. Создатель сделал его пастухом, и Ветер пасёт теперь отару звёзд на Млечном лугу. А душа Ветра послана на Землю. Это она курлычет в печной тру- бе, выражая его печаль и любовь... Вернувшись в дом, женщина поставила на припечек плошку молока. Утром плошка, оказалась суха... С тех пор так и повелось. Когда солнце отправлялось на покой, женщина выходила на крыльцо и поднимала голову в сто- рону Млечной дороги. В полночь оттуда срывалась маленькая звёздочка. Женщина возвращалась в дом и ставила на припечек плошку с молоком. Утром в плошке не оставалось ни капли. Зато вечером женщине казалось, что Млечный Путь сияет ещё ярче...

Ламка умолкла. Сергей с Ксюшей не шевелились. Тишину нарушало лишь Алёшкино посапывание.

– Мама, – спросила Ксюша, голос её был напряжён, а глаза широко раскрыты. – Как звали ту женщину?

Ламка повернулась, глотнула вина, посмотрела на дочку, более пристально – на Сергея и снова устремила глаза в окно:

– Катти Сарк...

... День подошёл к концу. Алёшка спал. Ламка предложила не тревожить его, а оставить в их номере. Сергей так и сделал, только раздел и перенёс малого на Ламкину постель.

– Готов предоставить поэтическое прибежище, – шепнул он Ламке. Она прижалась к нему, потому что Ксюша к той поре тоже угомонилась. Правда, когда они с Ламкой уходили, ему показалось, что она подняла голову.

К полуночи метель ослабла. Ветер стих. Небо вызвездило. По небесному океан-морю поплыл парусок месяца.

Растратив наконец пыл, который с трудом сдерживался больше суток, Сергей с Ламкой тоже затихли. Лёжа в объятиях друг друга, они неспешно переговаривались. Обсуждая, наваливали детей. Перебирая прошедший день, вспомнили про лисичкин гостинец. Тут Ламка стала выпытывать, как ему это удалось – сохранить пирожки горячими. Сергей поначалу подразнил её, а потом признался.

– Вот она, оказывается, какая Лиса Алиса, – протянула Ламка и принялась его щекотать.

Сергей уворачивался, отбивался, пытался ускользнуть:

– Какая же я Алиса? – В подтверждение этого соприкасался убедительным местом, предъявляя его как неоспоримый факт – ничего не помогало, пока наконец он не стиснул Ламку в объятиях: – Какая же я Алиса, – утишая смех и дыхание, возражал он. – Уж тогда лучше Кот Базилио, – и при этом миролюбиво и сладко замурлыкал. Лунный свет, ограниченный шторами, теперь падал на Ламкину грудь: – Вот это поле чудес. – Сергей касался губами тёплой кожи. – Вот это серебряные монетки. – Он перебрал губами все до единой родинки, что составляли созвездие Ламки. – Что купит на них благородный Кот Базилио? – Это он произнёс дурковатым голосом и тут же, надев личину Кота Матроскина, очень убедительно промяукал: – Молочка...

Лунный свет стекал с Ламкиного соска и струился ниже.

– Куда ведёт этот млечный путь? – шептал Сергей, уже выходя из роли и начиная задыхаться. – Ему мешают горные отроги. – Это он коснулся скомканного одеяла и, не в силах более что-либо говорить, решительно откинул его, давая выход лунной дорожке...

...Очнулся Сергей под утро. Начинало светать. Ламка лежала на боку спиной к нему, но он догадался, что она не спит.

– Я люблю тебя, – одними губами вышептал он в её маковку, возможно, даже не произнёс, а только подумал. Но Ламка услышала. Она порывисто обернулась и обняла его:

– Я тоже люблю тебя.

Глаза у Ламки были переполнены и вот-вот могли пролиться.

– Серёжа, милый, давай уедем...

Со сна он ничего не понял. К тому же сейчас его занимала чистота дыхания, и он искусно уворачивался, пряча лицо у Ламки на груди.

– Конечно, поедem... После обеда...

– Я не о том, – Ламка стремительно поднялась на колени. – Совсем уедem... Бери сына, я – дочку, и уедem. Куда хочешь. – Она молитвенно сжала кулачки. – Хоть в Сибирь...

Сергей был так огорошен, что не мог ничего сообразить. Но Ламка расценила его молчание по-своему:

– Твоя отдаст... Я знаю...

– Ты встречалась с нею? – он чуть напряжился.

– Я видела... – Ламка помешкала, – её глаза.

Она возвышалась над ним во всей своей красе. Ему бы любоваться этой удивительной женщиной, оглядывая её всю от маковки до пят, но он впервые видел её такой смятенной и не знал, как себя держать. Прямо в глаза он смотреть был не в силах и, чтобы уж совсем не отводить взгляда, прятал его в созвездие родинок, которые обнажила соскользнувшая с плеча бретелька.

– Рожу ещё... Если захочешь, – выдохнула Ламка. Взгляд Сергея метнулся к потолку.

– Ты хочешь сказать: а он? – опять по-своему истолковала Ламка. – Он смолчит. Закон во всяком случае не переступит... Но только надо уехать...

– Почему? – вырвалось у Сергей.

– Ну как же! – мучительно улыбнулась она. – Здесь?.. При них?.. – Это прозвучало так, словно тени его жены и её мужа находились сейчас здесь, в этой комнате. Сергей даже дыхание притаил.

Что сказать, как ответить, – чтобы и не обидеть и не давать скоропалительных обещаний – Сергей не знал. Душа его ещё не созрела. Он не готов был к этому экзамену. А отвечать впопыхах не чувствовал ни желания, ни права.

– Давай подождём, – сказал он. – Скоро весна. Будет много солнышка, света, и всё прояснится... Ладно?

Откуда было Сергею знать, что к той поре отношения в семье у Ламки обострились. По милости редакционной соседки – бдительной старой девы – муж прознал про тайную связь, и меж супругами состоялся очень крутой разговор. Сергей не знал этого, потому что так уж повелось у них – о семейных делах, тем более о жёнах-мужьях, они с Ламкой не говорили.

Изменилось ли что-то в их отношениях после той поездки? Сергей ничего не замечал. Ламка была такая же порывистая, такая же трепетная. Разве только немного посуше стали её глаза, словно их тронуло первое весеннее солнышко.

– Отчего это? – спросил он.

– Весна. Авитаминоз, – как бы подтверждая его догадку, обронила она.

В начале марта Ламка снова собралась в командировку. На сей раз ей предстояло ехать в соседнюю область. По этой причине разлука могла затянуться. И, словно предчувствуя это, в последний вечер они долго не могли расстаться.

– Не звони, – попросила она. – Ладно? – Она остерегала его от редакционной соседки, хотя для неё, Ламки, это уже не имело никакого значения. – Я сама объявлюсь. Хорошо?

– Хорошо, – согласился он, совсем не желая признавать, что это хорошо.

* * *

Сергей не звонил в редакцию две недели. Две недели он не слышал её голоса. Однако не потому, что держал слово – сам очутился в командировке. Причём где? – в самом северном районе области, на берегу океана. Он не в силах был сдержать это слово и не раз пытался дозвониться. Больше того, однажды его соединили. Слышимость оказалась отвратительная. Но дело было даже не в этом, потому что не столь важен казался смысл, сколько вообще голос. Трубку взяла не Ламка, а видимо, та, неизвестная ему соседка, и он отказался от разговора.

В той командировке ему ничего не оставалось делать, как изводить себя работой. Он мотался с места на место по дальним заказникам, урывками спал, чем придётся и когда придётся питался. Он так извёлся за те дни, что к концу второй недели укоротил брючный ремень аж на три дырки.

Программу командировки Сергей завершил досрочно. Однако, когда собрался назад, на край обрушился циклон. Стихия перемешала небо и землю в один метельный клубок. Пурга бушевала неделю. Самолёты, ясно дело, не летали. В итоге в областной центр Сергей вернулся на двадцатые сутки.

Был полдень, когда Сергей вошёл в свой подъезд. Машинально открыл почтовый ящик. Жена почту не забирала. Там скопились стопка газет, журнал «Охота и охотничье хозяйство», счёт за телефон и письмо. Почерк на конверте он узнал. Его

бросило в жар – рука была Ламкина. Сердце встрепенулось, он никак не мог распечатать конверт и в конце концов, глянув на просвет, оторвал кромку. Внутри виднелся голубоватый листок. Он извлёк его. Это оказался больничный. Листок был заполнен непонятным медицинским почерком. А поперёк красным фломастером было выведено два слова. Сергея обнесло, он едва успел ухватиться за перила. Одолев внезапный приступ, он, как пьяный, поднялся на свой этаж, открыл квартиру и, не раздеваясь, бросился к телефону. Ламкин номер не отвечал. Он порылся в справочнике, нашёл редакционный раздел, набрал первый же попавшийся – не то секретариата, не то бухгалтерии – и, когда услышал отзыв, почему-то представился преподавателем музыкальной школы.

– А вы разве не знаете? – донёсся раздражённый мужской голос. – Она уволилась.

– Уволилась? – повторил Сергей. – Очень хорошо.

Это «очень хорошо» потом аукалось, как икота.

Уставившись в окно, Сергей тупо глядел вверх крыш. Чистое небо, по которому он успел проскочить, затягивало непролицаемым чёрным валом. Сумерки быстро охватывали дворы, промежутки меж домами. Небесная полоска, мерцавшая между земным и небесным мороком, всё истончалась и истончалась. Не желая дожидаться, когда окончательно закроется чёрный занавес, Сергей встрепенулся и бросился на улицу. Мигнул огонёк такси. Сергей резко вскинул руку. Адреса, куда ехать, он не знал, но район и дом помнил, потому что однажды провожал её. «Этот дом наполовину принадлежит военному округу», – пояснила Ламка. На какую половину, Сергей догадался по колеру. Два из четырёх подъездов были выкрашены снизу доверху в различные оттенки защитного цвета. Теперь предстояло определить квартиру. Ламка поминала, что соседские мальчишки балуются с номером, поворачивая цифру. Какую цифру можно поворачивать, меняя значение? – «шестёрку» на «девятку» или наоборот. Сергей добросовестно обошёл все этажи. В начертании номеров царил невоенный разнобой. Одни были написаны краской прямо по филёнке, другие – на фанерных ромбиках и квадратах. И только несколько номеров с «шестёрками» и «девятками» оказались исполнены в металле. Сергей нажал звонок квартиры номер 36, где «шестёрка» крепилась на одном шурупе. «Будь что будет, – решил он. – Откроет муж – обращусь к мужу». Он был готов сейчас ко всему. Но случилось то, чего он не мог и предполагать. Двери открыла средних лет незнакомая

женщина. Сергей назвал Ламкину фамилию, уже решив, что дедуктивный метод его подвёл. Однако, оказалось, нет. Он попал в самую точку. Только опоздал.

– Они съехали, – сказала женщина.

– Как? – только и смог выдавить Сергей. У него, видимо, было такое лицо, что женщина, добрая душа, решила выдать военную тайну:

– Они на Кубе. Мужа перевели...

... Сергей не помнил, как спустился вниз, куда пошёл, где бродил. Счёт времени, а главное – его смысл перестали существовать для него, потому что в этом времени не стало Ламки.

Было уже темно, когда ноги принесли Сергея к думскому особняку. Из-под дверей таксидермической мастерской пробивалась полоска света. Хозяин филармонии был на месте.

– О, Серенький! – обрадовался Филя, когда Сергей отворил дверь. Нетвёрдой, слегка вихляющей походкой он двинулся навстречу. – Опять по пятницам пойдут свидания... – И осёкся. Потому что увидел глаза Сергея.

Военной тайной, в отличие от новой хозяйки квартиры номер 36, Филя не владел. У него была только водка. Посадив Сергея к столу, он вылил в стакан всё, что у него имелось. Сергей выпил и даже не поморщился. Хмель его не брал, он уже проверял.

– Ты посиди тут, – засуетился Филя. – Я сбегая... – Он схватил полушубок и неожиданно живо надел его. – Только никуда... Слышишь? – Ушанку он нахлобучил на ходу. – Я живо... – Пнул ногой дверь. – Одна нога здесь... – И выскочил наружу. Концовку фразы отсекла тугая пружина, вернув дверь в первоначальное положение.

Когда пружина перестала зудеть, Сергей перебрался на лекало, где обычно сидел по пятницам. Перед ним во всём своём великолепии предстали бабочки. Планшеты были подсвечены лампой дневного света, которая, слегка потрескивая, посылала в потолок рассеянный мертвенный свет. От этого казалось, что бабочки шевелят крылышками. Сергей недоверчиво помотал головой, слепил и разлепил веки. Ощущение не пропадало. Бабочки и впрямь шевелились, словно куда-то поманивали. «Куда?» – вытянулся Сергей и наконец понял: бабочки манили к себе.

Более не медля, Сергей вскочил с колоды, вышел из филармонии, перед этим сняв с защёлки английский замок, и поднялся на второй этаж. В кабинете шефа и в «предбаннике» шла уборка. Он прошёл в противоположный конец. Двери анфилады

были уже закрыты. Он извлёк из тайника ключ и вошёл внутрь. Минуя Ковчег, который вновь стал старым диваном, Сергей даже не взглянул на него, а прошёл в свой кабинетик и затворил за собою дверь.

Всё, что Сергей теперь делал, он делал машинально, почти автоматически. Машинально отомкнул металлический шкаф, где хранилось подготовленное к регистрации оружие. Машинально достал стоявшую с краю одноствольную «тулку». Машинально извлёк из патронташа патрон. Справа, куда скользнула рука, всегда держались «жаканы». Он не ошибся в своем выборе. А убедился, что не ошибся, заглянув внутрь. На папковом пыже, который был забит на сантиметр от обреза, алел выведенный фломастером алый крест. Сергею вспомнился больничный листок. Он вытащил его из кармана и разгладил. На листке алым по голубому был выведен приговор. Именно так, а никак иначе это следовало читать: «Был мальчик».

«Был ли мальчик?» – ворошилась кровь, переливаясь из пустого в порожнее. «Был, – отдавалось гулким эхом в звенящей пустоте. – Мальчик был».

Воздуху не хватало. Сергей задышался. Поднявшись со стула, он шибанул створку окна.

«Мальчик был. Мальчик по имени Январь. А теперь его нет. Нет и уже никогда не будет. Я не покажу ему альбом с акварелями чайных клиперов. И мы с ним никогда не построим «Катти Сарк». Потому что мальчик был. Был, а теперь его нет».

Сергей вернулся к столу, рухнул на стул и лихорадочно сцапал листок. Комкая бумажку в ладони, он мял её до тех пор, пока не смял в небольшой шарик.

– Вот, – пробормотал он, бросив шарик на стол. Однако и смятый, этот клочок бумаги шевелился, расправлялся и напоминал живое существо. Сергей судорожно схватил его и торопливо загнал в патрон, утрамбовав по самые закрайки. Больше листок не шевелился.

– Всё, – выдохнул Сергей. Дрожащими руками, судорожно сглатывая слюну, переломил ружье и загнал патрон в патронник. Затвор клацнул. Пахнуло смазкой, отчего Сергея замутило и едва не стошнило. Чтобы передохнуть, набраться сил, он положил ружьё на стол и откинулся на спинку стула. Потолок был белый. Кусок лепнины – частичка большого рельефного круга – напоминал очертания наполненного ветром паруса. Сергей подумал об этом вскользь, опять же машинально. И вот только так подумал, как вдруг что-то произошло. Двери кабинетика вне-

запно распахнулись. По закоулкам помещения пронёсся стремительный вихрь. Он поднял на воздух всё, что способно было летать – плакатики и листовки из открытого шкафа, памятки и инструкции с полок, деловые письма со стола. И только те бумаги, которые находились под спудом «тулки», были не в силах вырваться на волю.

Сергей оторвался от спинки стула, взгляд его скользнул с потолка, царапнул стену. В глубине распахнутых дверей мерцали кольца Филиных очков. Чуть ниже и ближе к проёму белело испуганно-ищущее лицо жены. А в самих дверях стоял Алёшка. Он стискивал ушанку. Волосёнки его были растрёпаны, рот раскрыт. А глаза зачарованно глядели на поднятые вихрем бумаги, как совсем недавно и уже страшно давно они восхищались новогодней ёлкой, на которой сверкали, блистали и переливались огнями большие разноцветные шары.